Н.В. Гоголь



Тарас Бульба

Книжный клуб
Семейного досуга

Тарас Бульба (сборник)
Николай Васильевич Гоголь

Аннотация
Николай Гоголь. Тарас Бульба (сборник)
Предисловие
Тарас Бульба. (В первоначальном виде)
Гетьман
I. Несколько глав из неоконченной повести
II. Кровавый бандурист. Глава из романа
III. Глава из исторического романа
IV. Мне нужно видеть полковника
Сорочинская ярмарка
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

XIII
Пропавшая грамота
Ночь перед Рождеством
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
Глава I. Иван Иванович и Иван Никифорович
Глава II,. из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился
Глава III,. что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?
Глава IV,. о том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда
Глава V,. в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ
Глава VI,. из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится
Глава VII,. и последняя
Страшный кабан. Две главы из малороссийской повести
I. Учитель
II. Успех посольства

Аннотация

Уникальный сборник, объединивший первую (1835 г.), мало известную современному читателю, редакцию исторической эпопеи «Тарас Бульба», неоконченную повесть «Гетьман», мистические повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и две главы из малороссийской повести «Страшный кабан».

История Украины, живые образы сильных и смелых людей, преданных родине и готовых отдать жизнь за ее независимость, выписаны яркими красками, а в картинах повседневной жизни и праздников, в обычаях и суевериях раскрыт характер украинского народа.

Разноплановые на первый взгляд произведения объединяет пронзительное чувство любви к Украине, которую воспел гениальный писатель Николай Васильевич Гоголь.

Николай Гоголь
Тарас Бульба (сборник)

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007, 2012

* * *

Предисловие

Его называют романтиком, мистиком, монахом, религиоведом, знатоком фольклора и истории, считают, что он обладал пророческим и проповедническим даром.

Имя этого великого человека, в совершенстве владевшего искусством художественного слова, — Николай Васильевич Гоголь.

Н. В. Гоголь родился 20 марта 1809 года в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Детские годы его прошли в Васильевке — имении Гоголей.

Отец, Василий Афанасьевич, был творческой личностью. Он писал стихи и куплеты, сочинял пьесы и сам участвовал в их постановке в домашнем театре помещика Д. Трощинского. Впоследствии фразы из этих пьес писатель Николай Гоголь использовал в качестве эпиграфов к «Сорочинской ярмарке» и к «Майской ночи» (они были подписаны: «Из малороссийской комедии»). Отец во многом повлиял на развитие в сыне литературных способностей и на его увлечение театром. Николай Васильевич унаследовал от

отца не только внешнее сходство, но и остроумие, талант рассказчика, дар художественно-образного восприятия мира. Не случайно свои первые стихи маленький Никоша написал уже в пятилетнем возрасте.

Под влиянием матери, Марии Ивановны, формировались в основном религиозные, морально-этические и нравственные убеждения Гоголя. В доме Гоголей были обычны ежедневные молитвы, соблюдение религиозных праздников и постов. Все это оставляло свой след в душе впечатлительного мальчика. В одном из своих писем к матери, вспоминая случай из детства, Гоголь писал: «Я просил Вас рассказать мне о Страшном суде, и Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли»[1].

Ярко выраженный религиозный дух, царивший в доме Гоголей, поддерживался и бабушкой писателя со стороны отца, Татьяной Семенов-

[1] Сноски: 1

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 томах. — Т. X. — М. — Л.: Изд. АН СССР, 1940. — С. 282.

ной. Если верить биографическим источникам, то это была достаточно эрудированная, очень сильная, властная и гордая женщина. Наряду с этими качествами, Татьяна Семеновна обладала и незаурядными способностями к творчеству. Не имея специального образования, она прекрасно рисовала. Кроме этого, бабушка была хранительницей древних украинских традиций, привычек, быта. Именно от бабушки будущий писатель перенял увлечение живописью (живя в Петербурге, он посещал Академию художеств), услышал старинные казацкие песни, рассказы о родном крае и его легендарных личностях.

Несомненно, что именно этот детский период жизни Гоголя можно считать предпосылкой к пробуждению у будущего писателя национального самосознания, патриотизма, интереса к украинскому фольклору и этнографии.

После окончания Нежинской гимназии высших наук Николай Гоголь вместе с товарищем по гимназии А. Данилевским в декабре 1828 года приезжает в Петербург. Город оказался не таким, каким его ожидал увидеть Гоголь, и в своем письме к матери 3 января 1829 года он напишет: «Скажу еще, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я воображал его гораздо

красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы»[2]. Несмотря на бытовые трудности, с которыми пришлось столкнуться Гоголю в Петербурге, его творческие планы остаются неизменными. Разочаровавшись в государственной службе, о которой так мечтал еще в гимназии, Гоголь именно в литературе и искусстве видит для себя возможность служения человечеству. Свои литературные интересы Гоголь обращает к украинской тематике, задумав цикл повестей из малороссийского быта. В письме к матери 30 апреля 1829 года Николай Гоголь просит прислать ему «обстоятельное описание» украинской свадьбы, сведения об украинских народных поверьях, обычаях, суевериях: «Еще несколько слов о колядках, об Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно»[3].

---

[2] Сноски: 2

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 томах. — Т. X. — М. — Л.: Изд. АН СССР, 1940. — С. 141.

[3] Сноски: 3

Там же. С. 136–137.

На основе присланного материала Гоголь пишет сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первая часть сборника была опубликована в начале сентября 1831 года. Повести вызвали восторженный отзыв А. С. Пушкина: «…Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!»[4], — писал он в письме к А. Ф. Воейкову. Вторая часть сборника вышла в свет в марте 1832 года. Именно благодаря «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Гоголь получил известность как литератор. Интересно, что много позднее сам автор будет считать, что в этой книге «много незрелого». А в письме к В. А. Жуковскому 29 декабря 1847 года Гоголь так расскажет о мотивах появления «Вечеров на хуторе…»: «…Еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединились к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были

[4] Сноски: 4

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. [1837–1937]. В 15 томах. — Т. 11. — М. — Л.: Изд. Ан. СССР, 1949. — С. 216.

причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей!»[5]

Одновременно с работой над «Вечерами на хуторе…» проходила работа над так и незаконченным историческим романом «Гетьман». Первая глава из этого романа с подписью «ОООО» (обозначающей четыре буквы «о» из полного имени и фамилии писателя — Николай Гоголь-Яновский) была опубликована в альманахе А. А. Дельвига «Северные цветы на 1831 год». Позже, с поправками, эта глава была напечатана в «Арабесках» с примечанием автора: «Из романа под заглавием “Гетьман”». Первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен, две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании». Описанные в романе события относятся к началу XVII века. Главный герой романа — историческое лицо — нежинский полковник Степан Остраница, возглавивший борьбу казачества с польской шляхтой. Основная тема и исторические образы,

---

[5] Сноски: 5

Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. — М.: Алгоритм, 2003. — С. 95.

очерченные в романе, были в дальнейшем использованы Гоголем в «Тарасе Бульбе».

В январе 1831 года в «Литературной газете» была опубликована глава «Учитель» из его неоконченной малороссийской повести «Страшный кабан», а в марте того же года глава «Успех посольства». Сюжет и этого произведения основан на отображении украинского сельского быта, а описание местности, в которой проходит действие повести, во многом напоминает родную для Гоголя Васильевку и ее окрестности.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» впервые вышла в свет в альманахе «Новоселье» в 1834 году, а через год была напечатана в сборнике «Миргород». Повесть может навести читателя на мысль о том, что Гоголь считал обитателей Миргородского уезда чем-то хуже обитателей других местностей. Персонажи кажутся совершенно пустыми и ничтожными в своих амбициях. Однако сам Гоголь просил считать это произведение «совершенной выдумкой» и не забывать при этом, что «лучшие губернские предводители, притом более других пребывавшие в этом звании, были все из Миргородского уезда».

В описании скучной провинциальной жизни,

смысл которой главные герои находят в многолетней тяжбе друг с другом после нелепой ссоры, можно найти и юмор, и лиризм. Мастерство простодушного гоголевского юмора мы видим в изображении самих двух Иванов, их привычек, одежды (взять, к примеру, хотя бы описание бекеши Ивана Ивановича в начале повести). Так же поэтична и лирична природа: «…тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни».

К концу 1834 года Гоголь пишет первую редакцию героической эпопеи «Тарас Бульба». К созданию этого произведения Гоголь пришел не сразу. Чтобы собрать необходимый материал, он напечатал статью «Об издании истории малороссийских казаков», в которой обратился к общественности с просьбой прислать ему различные исторические источники и документы (песни, легенды, летописи, записки и т. д.). Те из них, что относились к истории казачества, Гоголь использовал в работе над повестью. Кроме истории Украины, Гоголя интересует и средневековая история Западной Европы и Востока. По данным этих исследований Гоголем был на-

писан ряд статей, опубликованных в 1835 году в сборнике «Арабески». Огромное количество исторических трудов, изученных Гоголем, содержали массу противоречий и не давали пищу для художественного воображения. Поиск материла для «Тараса Бульбы» заставляет его обратиться к народным песням. Гоголь ищет в них не точное отображение исторических событий с указанием дат, а описание характера и духа минувшего века, радости и страдания самого народа. Насколько велика была для Гоголя роль народных песен в написании повести «Тарас Бульба», можно судить по следующему высказыванию: «Если бы наш край не имел такого богатства песен, я бы никогда не писал истории его, потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем».

Первая редакция «Тараса Бульбы» была опубликована в «Миргороде» в 1835 году. Вторая редакция, с существенными изменениями, вышла в свет в 1842 году. Во второй редакции Гоголь почти вдвое увеличил объем эпопеи и количество глав (с девяти до двенадцати). Что касается идейного замысла, то он не претерпел резких изменений. Во второй редакции более масштабно изображены черты, придающие произведению характер народно-героической эпопеи, дана по-

дробная картина вольной жизни Запорожской Сечи. В «Тарасе Бульбе» раскрыта и опоэтизирована огромная сила патриотических чувств украинского народа, показано его неудержимое стремление отстоять свою независимость. Автором нарисованы яркие образы сильных и смелых людей, преданных своей родине, готовых идти ради нее на страшные испытания.

Настоящий сборник открывает первая редакция «Тараса Бульбы», менее известная современному читателю. Кроме того, в сборник включена неоконченная историческая повесть «Гетьман», а также повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и две главы из малороссийской повести «Страшный кабан». С одной стороны, в этих повестях показана драматическая картина военных действий, с другой — образ украинского народа, национальный характер которого раскрыт в его повседневной жизни, праздниках, обычаях и суевериях; сцены сельской жизни, переплетенье фантастического и реального. Разноплановые, на первый взгляд, произведения объединяет пронзительное чувство любви к Украине, к ее героической истории и к простому народу, которая подарила нам гениального писателя Николая Васильевича Гоголя.

Тарас Бульба
(В первоначальном виде)

I

— А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе[6] и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Постойте, постойте, дети, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас

---

[6] Сноски: 6
Бурса — семинария.

свитки[7]! Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было! А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Фу ты, какой пышный[8]! а отчего ж бы не смеяться?

— Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

— Да хоть и батька. За обиду — не посмотрю и не уважу никого.

— Как же ты хочешь со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга.

— Вот это сдурел, старый! — говорила бледная,

---

[7] Сноски: 7

Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[8] Сноски: 8

Пышный — здесь: гордый, надменный.

худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Ей-богу, сдурел! Дети приехали домой, больше года не видели их, а он задумал бог знает что: биться на кулачки.

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-богу, хорошо!.. так-таки, — продолжал он, немного оправляясь, — хоть бы и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном начали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас[9], что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему. — Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще выдумал что! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень[10] ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть

---

[9] Сноски: 9
Бейбас — лентяй; болван.

[10] Сноски: 10
Сажень — древнерусская мера длины, равная 2,1336 м.

чего-нибудь, а он заставляет биться!

— Э, да ты мазунчик[11], как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она — баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба! А видите вот эту саблю — вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и филозофия, все это *ка зна що*, я плевать на все это! — Бульба присовокупил еще одно слово, которое в печати несколько выразительно, и потому его можно пропустить. — Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму!

— И только всего одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать. — И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее да неси нам все, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков[12] не нужно, а

---

[11] Сноски: 11
Мазунчик — маменькин сынок, неженка, любимчик.

[12] Сноски: 12
Пундики — сладости.

прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками[13], а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных монистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому.

Все в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии[14]. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие

---

[13] Сноски: 13

Вытребеньки — причуды, выдумки, капризы; то, что не имеет практического значения, и является только украшением.

[14] Сноски: 14

Уния — объединение православной церкви с католической под властью Папы Римского в 1595 году.

в светлицу Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах, — все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, — приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

— Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов[15] били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи[16] начнут что против веры нашей

---

[15] Сноски: 15

Бусурмен, бусурман — нехристианин, язычник, всякий иноверец в неприязненном значении.

[16] Сноски: 16

Ляхи (*устар.*) — поляки.

чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажется?

«Вишь какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап, — все, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит[17], — продолжал Бульба, — не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему? а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки, драли вас и по середам, и по четвергам?

— Нечего, батько, вспоминать, — говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом, — что было, то уже прошло.

— Теперь мы можем расписать всякого, говорил Андрий, — саблями да списами[18]. Вот пусть

---

[17] Сноски: 17

Архимандрит — настоятель монастыря.

[18] Сноски: 18

Спис (*диал.*) — острога (рыболовецкое орудие, похожее на вилы, для удержания рыбы); копьё.

только попадется татарва.

— Добре, сынку! Ей-богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропала! Чтоб я для ней оставался дома? Я козак! Я не хочу! Так что же что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился и наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть

в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций — все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий[19] устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели Порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и козацкими войсками, была разделена между ними не поровну и польские войска получили более преимущества. Он, в собрании всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос! А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы».

---

[19] Сноски: 19

Баторий (Batory, Bathory) Стефан (1533–1586) — польский король с 1576 г., полководец.

Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» — обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж прежде всего он строго разбирал обстоятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары[20] налагали большую повинность, или не уважали старшин и говорили перед ними в шапках, или посмеивались над православною верою, — в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу Божию, христианства

[20] Сноски: 20
Комиссары — польские сборщики податей.

и козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия, особливо когда он решался защищать что-нибудь.

Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостию заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать

приказания своему осаулу[21], которого называл Товкачом, потому что тот действительно похож был на какую-то хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, размахивая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням[22] своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня, которого он обыкновенно называл Чертом.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба

---

[21] Сноски: 21

Осаул (есаул, от тюрк. ясаул — начальник) — должность в казачьих войсках.

[22] Сноски: 22

Курень — отдельная часть запорожского казацкого войска; жильё казаков, составлявших эту часть войска.

любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их, — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо.

В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили

вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси[23] без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, — все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд! Может быть, он задумал

---

[23] Сноски: 23
Перси — грудь.

оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара́? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие

убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром[24]. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакин[25] алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

---

[24] Сноски: 24

Очкур — пояс или шнурок для стягивания шаровар.

[25] Сноски: 25

Казакин — полукафтан с прямым воротником, без пуговиц, на крючках.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли Бога, чтобы они всевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[26], чтобы стояли всегда за веру Христову; а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас… Божья Матерь… не забывайте, сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о себе… — далее она не могла продолжать.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежно-

---

[26] Сноски: 26
Рыцарскую. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

сти; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию. Ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев, — дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо летевшую чрез него с помощию своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем, с привязанным вверху

колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице[27], и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники[28] тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям,

---

[27] Сноски: 27
Зеница (*устар.*) — глаз, зрачок.

[28] Сноски: 28
Сановник — особа высокого стана, знатный родом, вельможа.

хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступившие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические[29],

[29] Сноски: 29

Схоластика — направление в философии, отличающееся абстрактными беспредметными рассуждениями; формальное знание, оторванное от жизни.

грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул[30], долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему

[30] Сноски: 30

Консул — избираемый среди бурсаков старший, который следил за их поведением.

сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода[31] Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы[32], по их приказанию, пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это долж-

---

[31] Сноски: 31
Воевода (*устар.*) — предводитель войска, главнокомандующий.

[32] Сноски: 32
Ликторы — помощники консула.

но было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от

наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили

малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница, с престрашными усами, хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом.

Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную

шемизетку[33] с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи.

Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его.

После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский

---

[33] Сноски: 33
Шемизетка — накидка.

скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо.

Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости, — как будто какие-нибудь чернецы[34]! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки[35] да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на

---

[34] Сноски: 34
Чернец — монах.

[35] Сноски: 35
Люлька (*укр.*) — трубка для курения табака.

душе у козаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка

и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд, из десяти козаков, слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи[36], пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера.

Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним и они становились темно-зелеными; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру[37], и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны

---

[36] Сноски: 36
Корж — сухая лепешка из пшеничной муки.

[37] Сноски: 37
Амбра — благовоние.

были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихла и сменялась другою. Пестрые овражки[38] выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь

[38] Сноски: 38
Овражки (*укр.* ховрашки) — суслики.

из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называв-

шейся Татаркою, впадающею в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопре-

деленным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари[39] под ятками[40] сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного

---

[39] Сноски: 39
Крамари — торговцы.

[40] Сноски: 40
Ятка — торговая палатка, место на базаре или ярмарке.

к ним презрения.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечу, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков, с навесами, на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека[41], не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались

---

[41] Сноски: 41

Засека — искусственное заграждение из срубленных деревьев.

в небольшие кучи. Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому приставшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых вырабатывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем далее, росла; к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими запорожцами. Это имело в

себе что-то разительно-увлекательное. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным изобретателям, носит название козачка.

Тарас Бульба крякнул от нетерпения и досадуя, что конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с какою они работали ногами. Чересчур дряхлые, прислонившись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привязывали преступника, топали и переминали ногами. Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно.

Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ремень!» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас

Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград.

Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в нем одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший

конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но бóльшая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница

была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что

все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов[42] и реалов[43] во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому[44], который обыкновенно говорил:

---

[42] Сноски: 42

Дукат (*ит.* dukato) — серебряная монета, распространенная в ряде европейских стран.

[43] Сноски: 43

Реал (*исп.* real) — испанская серебряная монета.

[44] Сноски: 44

Кошевой — вождь, атаман козаков на Запорожской Сечи, избиравшийся ежегодно; начальник коша (лагеря).

— Здравствуй! что, во Христа веруешь?
— Верую! — отвечал приходивший.
— И в Троицу святую веруешь?
— Верую.
— И в церковь ходишь?
— Хожу.
— А ну перекрестись!
Пришедший крестился.
— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что, как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Такова была та Сеча, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни.

Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.

— Что, кошевой, — сказал он раз, пришедши к атаману, — может быть, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

— Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да он ведь бусурмен: и Бог и Священное Писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б мы не клялись нашею верою, то, может быть, как-нибудь еще и

можно было.

— Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, — им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

— Что ж делать? — отвечал кошевой с таким же хладнокровием, — нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанные к столбу литавры[45], в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша[46], они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

---

[45] Сноски: 45

Литавра (*греч.* polytaurea) — ударный музыкальный инструмент в форме полушария, сторона которого затянута кожей; разновидность барабана.

[46] Сноски: 46

Довбиш (*укр.*) — литаврист.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшие к нему навстречу старшины. — Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов.

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли господарство ваше речь держать?

— Говори, говори! — зашумели запорожцы.

— Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, — да вы, может быть, и сами лучше это знаете, — что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень много

таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни раза не бил бусурмана?

— Вишь, он хорошо говорит, — сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий — грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную рясу кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Вишь, проклятый! что это он путает такое? — сказал Бульба писарю.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему

бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии[47]. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.

— Позвольте, панове, речь держать?

— Довольно! — кричали запорожцы, — лучшего не скажешь.

— Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы отправить несколько

---

[47] Сноски: 47
Анатолия — черноморское побережье Турции.

молодых людей под руководством опытных и старых.

Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом как можно было таким гульливым рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противоположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость

овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из козаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.

— Бог в помощь вам, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори!

И толпа усеяла и обступила весь берег.

— Слышали ли вы, что делается на гетманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.

— Какие же дела?

— Что и говорить! И родились и крестились, еще не видали такого, — отвечал приземистый козак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной.

— Ну, ну, рассказывай, что такое! — кричала в один голос толпа.

— А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же это? Что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом[48] уши ваши?

— Рассказывай! полно толковать! — сказали несколько старшин, стоявших впереди.

— Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки, на аренды?

— Нет.

— Так вы не слышали и про то, что уже христианину и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксендзы[49] ездят из села в село в тара-

---

[48] Сноски: 48
Клейтух — пыж, затычка.

[49] Сноски: 49
Ксендз — польский католический священник.

тайках[50], в которых запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. — Стой! и я скажу слово! А что ж вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! — отвечал приземистый козак, — а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.

— А гетман[51] ваш, а полковники что делали?

— Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь

---

[50] Сноски: 50

Таратайка — двухколесная повозка с откидным верхом, кабриолет.

[51] Сноски: 51

Гетман (гетьман) — начальник войска у казаков, верховный правитель.

гетман и полковники?

— Где?

— Полковников головы и руки развозят по ярмаркам, а гетман, зажаренный в медном быке[52], и до сих пор лежит еще в Варшаве.

Содрогание пробежало по всей толпе; молчание, какое обыкновенно предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые дотоле в душе силою дюжего характера, брызнули целым потоком речей.

— Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными христианами, чтобы так замучить наших! да еще кого? полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели все это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Как, чтобы жидовство над нами пановало?! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! чтобы

---

[52] Сноски: 52
Медный бык — плавильная печь.

и духу ее не было! — произнес кто-то из толпы.

Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье, с сильным желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок, но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано, — ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете… — Голос его умирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! ей-богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое,

что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных, яломках[53], оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал высокий жид, — не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим. Пусть им черт приснится! Мы с запорожцами — как братья родные…

— Как? чтоб запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! Я

---

[53] Сноски: 53
Яломок — шапка из войлока.

знал и брата вашего покойного Дороша. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов[54] дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал! великодушный был пан!

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти.

Вся Сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти

---

[54] Сноски: 54

Цехин (*ит.* zecchino) — старинная венецианская монета.

с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу.

И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин[55]. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкве служил священник молебен, окропил зсех святою водою, все целовали крест.

Когда все запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.

---

[55] Сноски: 55

Аршин (*тюрк.*) — дометрическая мера длины, равная 71,12 см.

— Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово. — Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

— Дурень, что ты здесь сидишь? — сказал он ему, — разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

— Молчите, — отвечал жид. — Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу, так! вот увидите.

Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.

IV

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха; везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли. Арендаторы-жиды были вешаны кучами, вместе с католическим духовенством. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустые пространства. Нигде не смел остановить

их отряд польских войск: они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие и что они явно нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем и народные права.

— Скажи епископу от лица всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произвол неприятеля.

Один только город Дубно не сдавался. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе с своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть

возможную степень бедствия и не сдаваться ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город, играли в чет и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпения.

Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои, Остап и Андрий, вдруг приобретшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на сторóже. Ночь, июньская прекрасная ночь, с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище: вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота; даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет; и среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним вились

вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок, в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, — все это всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее; вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди:

— Откуда? как? где твоя панна? как ты явилась здесь? что это значит? Говори, не мучь меня!

— Тише, ради Бога, тише! — говорила татарка и закуталась в козацкий кобеняк[56], который было сбросила с себя. — Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе.

— Милосердый Иисус! она здесь? что ты говоришь? она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что ж она? говори, говори! Что ж ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ела.

— Как!

— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.

— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?

— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.

— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне не умереть только до того часу!

Вся грудь его была проникнута самым прон-

---

[56] Сноски: 56
Кобеняк — суконный плащ с капюшоном.

зительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать панне, что он скоро будет сам; он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее привести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье. «Спаситель, она открыта! все пропало». Он со страхом и мертвою, убитою душою повел глазами вокруг: Боже, какое счастие! даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, полезла под телегу; небольшой четвероугольник дерну приподнялся — и она ушла в землю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно.

— Андрий! — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба, — какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Эй, смотри, сын! ей-богу, отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, а признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его свел интригу, — как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердце его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним

и снова за ним захлопнулось.

Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец ступени прекратились, под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

— Теперь идите прямо, — говорил ему голос: это была татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался такою же лестницею вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные как смерть; это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами видеть ту, за счастие которой он готов был отдать всю жизнь. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату. Везде была тишина: все или

спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез молнию мига он ее увидит!

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима[57]. Гебеновые[58] брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. Что это было за создание! И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к

[57] Сноски: 57

Серафим (*древнеевр.* serafim) — шестикрылый ангел высшего ранга в христианской и иудейской мифологии.

[58] Сноски: 58

Гебеновый (*диал.*) — черный.

ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища казалось малою жертвою, — это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода.

Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим: в нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид… О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице.

— Царица! — сказал он, — что для тебя сделать? чего ты хочешь?

Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями.

— Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я

умру, как и ты, моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отец? ты должен идти к ним, — говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.

— Что ты говоришь! — произнес Андрий со всею силою и крепостью воли. — Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле, — все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой! чего еще хочешь?

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически-пламенная щека ее коснулась его щеки, и лобзание — у, какое лобзание! — слило уста их, прикипевшие друг к другу.

V

— Пане! — сказал жид Янкель, высунув свой яломок в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти и который теперь маркитанствовал и шпионничал при запорожском войске. — Пане, знаете ли, что делается?

— А что?

— Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут.

— Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! — отвечал Бульба.

— А знаете ли, еще что делается?

— А что?

— Ваш сын Андрий — ой, вей мир, что это за славный рыцарь!..

— Ну?

— Он теперь держит сторону Польши.

— Как? — подхватил Бульба, вскочивши, — чтобы дитя мое… чтобы мой сын… да я тебя убью, проклятый жид! врешь ты, чертово племя!

— Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.

— Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?

— Далибуг[59], ей-же-богу, так!

— Чтобы он продал Христову веру и отчизну?

— Далибуг, так. Я его видел сам собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных сто́ят одни латы, богатые латы: все в золоте. А если бы вы увидели, как он славно

---

[59] Сноски: 59
Далибуг (*пол.*) — ей-богу.

муштрует солдатами!

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.

— Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид… Нет, не может он так сделать! Ей-богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как его не видал; он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке, — и глаза его сверкнули. Ярость, ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лице. «Вишь, чертова детина, ты таки свое взяла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней. Между тем кошевой раздавал повеления от себя быть всем в готовности и не позволять никаким образом осажденным соединиться с приближавшимися польскими войсками. Неприятельских войск было, однако же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин решили на том, чтобы усилить более ту линию, которая обращена к неприятелю. Через это цепь с противуположной стороны города ослабела. И хотя польские войска были отбиты с первого раза, и притом с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, решился воспользоваться

малочисленностью прикрытия и действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь и успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба рвал на себе волоса с досады, что уже невозможно было уморить их всех голодом. Запорожцы сдвинулись в густую непроломную стену — маневр, всегда доставлявший им существенную выгоду, потому что тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию. Неприятель, несмотря на то что был вдвое сильнее, не был в силах удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и три коронные полка, не в состоянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам, с небольшим числом, бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны:

с ним было только восемнадцать человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху; бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских; дорогóй акшамет[60] был на нем разорван; он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его, уже готовы были бежать, он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите! — кричал он, отчаянно простирая руки, — куда бежите вы? глядите: он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит

[60] Сноски: 60
Акшамет (*устар.*) — аксамит (бархат); козацкая одежда.

только один с тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи.

Андрий был безответен.

— Что, сынку? — повторил Тарас. — Помогли тебе твои ляхи?

Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у Господа Бога отпущения: за такое дело не прощают на том свете!

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился… выстрел грянул…

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле.

В это время подъехал Остап.

— Батько! — сказал он.

Тарас не слышал.

— Батько, это ты убил его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам.

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, похороним! — сказал Тарас, который в то

время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу задорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с бóльшим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк, под начальством Товкача, доставил ему значительный перевес. Он наконец узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил во что бы ни стало взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он бы протек как смерть по его улицам.

Он бы вытащил ее своею железною рукою, ее, обворожительную, нежную, блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла… Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

VI

В запорожское войско пришло известие, что Сеча взята, разорена татарами и бóльшая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно и пленные козаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отмстили за измену полякам и смерть гетманов и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать

приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал:

— Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман! Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену?

— Я посылал просить размена — не соглашаются.

— Так мы, стало быть, их и оставим так?

— Что ж делать.

— Как! чтобы они опять замучили их?

— А что ж делать! — отвечал кошевой, — ведь помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

— Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.

— А мне кажется, атаман, так не бывать этому.

— А отчего ж бы не бывать?

— Да так: я уже знаю.

— Ова, как важно! — сказал кошевой, прижавши пальцем золу в своей люльке.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать? — сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам. — Он хочет, чтобы мы

теперь же отправились на Сечу, а товарищей, тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаем мы кошевого! — сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт? — закричал он грозно.

— Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь! — кричала толпа.

— Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!

— Какую он может иметь власть? — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. — Мы — вольные козаки!

— А что ж? мы вольные козаки! — говорили запорожцы.

— Дам я вам вольных! Вы где вольные? — на Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня, и убить, и все, что хотите; а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт? — сказал он, обращаясь к Бульбе.

— Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианский! — хладнокровно отвечал Тарас. — Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь.

— Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! — сказал кошевой, несколько смягчивши речь. — За что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на Сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?

— То татарва, а то ляхи — другое дело, — отвечал Бульба. — Еще у бусурмена есть совесть и страх Божий, а у католичества и не было и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковородах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, — из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи, — что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли некоторые. — Сказали бы: вы помои, а не запорожцы! — Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их.

— Стойте, хлопьята, и я скажу! — кричал ата-

ман. — Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!

— Пропадать так пропадать! — сказал Бульба.

— Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей погибели! А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу!

— Вы делайте свое, а мы будем делать свое! — сказал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакой неприязни. Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех

нас вспоила Сечь, все мы братья родные… Спрашиваем каждого: не имеет ли против нас какого неудовольствия?

— Никакого! всегда были довольны! — закричали все в один голос.

— Ну, так пусть же на расставанье, — что будет впредь, то Бог один знает: может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку, — так поцелуемся все.

И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, Боже, чтобы все было так, как Богу угодно! Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украйна, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословение Божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась

по скату горы и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши:

— Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ, запороги, — сказал он, положивши палец на свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хриплый, пискнул дискантом, — этот народ, запороги, хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!

— Ну, панове молодцы! — сказал Бульба по удалении войска, — теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурменов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь, перед великим часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякий человек.

Пятьдесят козаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. Две тысячи козаков подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане-браты, — сказал Бульба, поднявши вверх свою рукавицу, — долг велит выпить за веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами. Да за одним уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове-браты, чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Нуте, разом за веру!

— За веру! — повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы.

— За веру! — подхватили дальние.

— За Сечь! — сказал Бульба, подняв снова рукавицу.

— За Сечь! — грянули ближние.

— За Сечь! — отозвалось в дальних.

— За славу и за всех христиан, какие живут на Божьем свете!

— За славу и христиан! — повторили ближние.

— За славу и христиан! — повторили дальние.

— Теперь на коней, хлопьята!

Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучею. Все дышали силою, свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею оттого, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их с стремительным упорством, начали отступать,

пораженные робостию и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили так же страшно, в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска приходили беспрестанно на

помощь, и если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивши об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день козаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрыпели; бóльшую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду; из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом[61] со всем обозом, продирались около пяти верст[62] и наконец про-

[61] Сноски: 61
Потянулись гужом — т. е. вереницей, гуськом.

[62] Сноски: 62
Верста — древнерусская мера длины, равная 1,0668 км.

брались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, верно, встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сеча увидела бы вновь своих славных защитников.

Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они видели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование.

Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а чрез несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного, с двух сторон шедшего войска.

«Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали», — сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием.

Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он, с обыкновенным своим хладнокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя чрез это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их.

В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалее от обоза, вступил в

мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большею частию запорожцев от обоза и ударил в средину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием[63]. Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили

[63] Сноски: 63
Кий (*пол.* kij) — палка, дубинка.

звонкие поля. Наконец сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся[64], лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых: все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками.

VII

— Долго же я спал! — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и избитый. — Спал ли я это или наяву видел?

— Да, чуть было ты навеки не заснул! — отвечал сидевший возле него Товкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие.

— Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню…

— Об том нечего толковать, как спасся; хорошо, что спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них.

---

[64] Сноски: 64
Грянуться — упасть с треском, грохотом.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства.

— А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.

— Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики, — и я не высвободил тебя, сын мой! Остап мой! изменила наконец сила! — Морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись: еще нам больше ста верст нужно проехать.

— Зачем?

— Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут две тысячи червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.

— Сын мой, Остап мой! — говорил он, — я не высвободил тебя!

И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во

всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы, но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то что ему было шестьдесят лет; через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и двух месяцев не прошло, — то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил, — и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспеди-

цию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свои свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на берегу, шевеля губами и произнося: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна

за другою.

Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, — когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, теперь ты сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву!

— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Янкель, брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву!

Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Как можно такое говорить? — говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих. — Разве пан не слышал, что уже…

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе двенадцать дам. Вот тебе две тысячи сейчас, — при этом Бульба высыпал из кожаного гамана[65] две тысячи червонных, — а остальные, как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Славная монета! — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А как же, вы думаете, мне спрятать пана?

---

[65] Сноски: 65
Гаман — кошелек.

— Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или там во что-нибудь другое.

— Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!

— Ну, что ж? То и хорошо.

— Как хорошо? Ах, боже мой! как можно эдакое говорить! Разве пан не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там всё такие ласуны, что боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь».

— Ну, так положи меня в воз с рыбою.

— Ох, вей мир! не можно; ей-богу, не можно! Там везде по дороге люди голодные, как собаки; раскрадут, как ни береги, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Стойте, стойте! Теперь возят по дорогам много кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани,

запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под яломка, по мере того как он подпрыгивал на лошади.

VIII

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в тёмную, узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились

жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что было только у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьи-

ное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Осво-

бодите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавлю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в землю золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан! не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. — Может быть, Бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель. — Нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон[66], и когда он ничего не сделает,

[66] Сноски: 66

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 до н. э. Прославился своей необыкновенной мудростью. Известен как автор некоторых книг Библии, в частности «Песни песней».

то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А! Мардохай! Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид,

стоявший на сторóже, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, — но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

— Когда мы да Бог захочет сделать, то уже будет так, как нужно.

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном

состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан! — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один чело-

век на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь[67] обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир, что это за корыстный народ! и между нами таких нет. Пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю…

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу, на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то на-

---

[67] Сноски: 67
Левентарь (*пол.*) — начальник охраны.

стойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на себя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной сто-

роны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков[68] в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

---

[68] Сноски: 68
Гайдук — легкий воин.

— Это мы! — кричал Янкель. — Ей-богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который, по всем приметам, казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу…

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид, — это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас. Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху

острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм… а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!.. — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник! совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид. — Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки… так от них блестит, как от солнца;

а цурки[69], где только увидят военных… ай, ай!

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид. — Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. (Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии.) И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба. — Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не

---

[69] Сноски: 69
Цурки (*пол.*) — девушки.

уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук. — А я знаю, приятель, кто ты: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради бога! — закричал Янкель. — Молчите! мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок

свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан! пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут… Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно! — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает Бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно,

а никто не даст ста червонных. О боже мой! боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись, — пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако

же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но бóльшая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу.

На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было

ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру[70] и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством.

Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с

---

[70] Сноски: 70
Секира — топор.

черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше[71] с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут!.. козаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены; они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного

---

[71] Сноски: 71
Кунтуш — верхняя мужская одежда, иногда на меху.

движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и… Я не стану смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Должно, однако ж, сказать, что король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козачьей нации. Но король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые

непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили сейм[72] в сатиру на правление.

Остап выносил терзания, как исполин, с невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленною головою и с поднятыми, однако же, глазами и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Наконец сила его, казалось, начала подаваться. Когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы, губы его начали шевелиться.

— Батько! — произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки. — Батько, где ты? слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо

---

[72] Сноски: 72

Сейм (*пол.* sejm) — центральный сословно-представительский орган в некоторых феодальных государствах Восточной Европы.

рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

IX

След Тарасов отыскался. Тридцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов и за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ. Верховным начальником войска был гетман Остраница, еще молодой, кипевший желанием скорее сбросить утеснительный деспотизм, наложенный самоуправием государственных магнатов, и очистить Украйну от жидовства, унии и постороннего сброда. Возле него был виден престарелый и опытный товарищ и советник его Гуня. Сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. Восемь полков, из которых полови-

на конных и половина пеших, в суконных алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. Восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете; но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленных защитников: Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу.

Не буду описывать тех битв, где отличились козаки, ни постепенного хода всей великой кампании: это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы, как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение

во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ; но козаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке[73], привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивши трактат, обеспечивший бы во всем козаков.

Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкою и хлеснувши ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукою и сказал:

---

[73] Сноски: 73
Аргамак — рослая и дорогая азиатская лошадь.

— Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня! — И голос его имел в себе что-то пророческое. — Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет сего! Сдерут с твоей головы, гетман, кожу! набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов!

— А вы, хлопцы, хотите умирать? — продолжал он, обращаясь к своему полку, — умирать так, как умирают честные козаки? А может быть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать там, покамест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном[74], как собака, — или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою все! — отвечали передние в полку. — Веди! ей-богу,

---

[74] Сноски: 74
Тын — сплошной деревянный забор, частокол, огорожа.

веди!

— Добре, паны молодцы! — сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули. — Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие козаки с завистью глядели на удалявшихся товарищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелию, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться.

Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их, — по крайней мере, они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками.

Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск

посылаемы были схватить его: он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые козаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, — он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более,

нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами, ночью, скакал он с своими козаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения: он преследовал его с удивительною неутомимостью и наконец настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость.

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною[75], что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он не имел в опустелой

---

[75] Сноски: 75
Стремнина — обрыв, отвесная скала.

крепости никаких средств для прокормления, а козаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленною смертью. С рекою невозможно было иметь сообщения; одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина.

Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы! уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двигнул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем и поставили это бревно рубом

в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и это, вместе с выражением сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались козаки. Ему с высоты все было видно как на ладоне.

— Занимайте, хлопцы, — кричал он, — занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него:

— Хлопцы, к берегу! к берегу! Под кручею, где крепость, стоят челны, а за вами в двадцати шагах спуск к берегу! Да забирайте все челны, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все

слова были услышаны козаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений.

Козаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть; но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в четыре шириною: одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах; из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо; но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Козаки только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался с своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного

Андрия), без дальнего размышления решился повторить и себе то же и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим; но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими козаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на козаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов.

— Прощайте, паны-браты, товарищи! — говорил он им сверху. — Вспоминайте иной час обо мне! Об участи же моей не заботьтесь! я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле, — да то уже мое дело… Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько!.. — удар обухом по голове пресек его речи.

Черт побери! да есть ли что на свете, чего бы побоялся козак? Не малая река Днестр; а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Козаки плыли под пулями и выстрелами,

осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана.

Гетьман

I. Несколько глав из неоконченной повести

Глава 1

Был апрель 1645 года — время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творения; самая нежная зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мхом церковь будто обновилась; вокруг ее, как рои пчел, толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину XVII столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чертами ли́ца и бритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, атлетическая сила, при

каждом почти заткнутый за пояс пистолет и сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. Благоговейное чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся было характер и воля; но и то и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила[76], отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими почти целою головою; какой-то крепкий, смелый оклад[77], какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было все заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма, для торжественного хода

---

[76] Сноски: 76

Паникадило — большая люстра или многогнездный подсвечник в церкви.

[77] Сноски: 77

Оклад — внешний вид.

вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского правительства, откуп[78], и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная, что это так; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, он так изумился, как будто бы это была новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о своих делах; но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился; все спокойно вошли в церковь при пении «*Христос воскресе из мертвых*!». Между тем совершенно наступило

[78] Сноски: 78

Откуп — откупная система; система сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой государство за определенную сумму передает право их сбора частным лицам (откупщикам).

утро. Выстрелы из пистолетов и мушкетов[79] потрясали деревянные стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхе, у девушек при целованье с козаками, у тех при попойке, как вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед разрушившеюся церковью собрались в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего как лунь козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось двое, стоявших около него; к ним пристали еще, и, наконец, целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь! У вас, видно, нет ни на волос Божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут черт знает что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откудова оно взялось, и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы слушались. Но это каждый

[79] Сноски: 79

Мушкет (*фр.* mousquet) — огнестрельное оружие с фитильным замком.

только думал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только, не отходя, и, как скоро оправился от первого страха незваною помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах[80]? Ступай же, тебе говорю, поганая жидóвина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид расстлался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан[81]. Это был довольно рослый поляк с глупо-дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство[82], терем-те-те? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве?

---

[80] Сноски: 80

Галанец — выходец из Голландии; галанцы — модные узкосшитые брюки.

[81] Сноски: 81

Улан — конный воин.

[82] Сноски: 82

Гунство — *здесь*: дикость.

Что вы? Что тут, драка? Порвал бы вас собака!..» Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старику козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты начал драку? Басе мазенята, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подошвы?.. Черт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него еломец краше, чем ваша *холопска вяра*...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клок серебряных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

— Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уже им потерял. Сто лет, а может, и больше, тому назад меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои... Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..

При сих словах стодвадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид

стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

— Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Чтобы я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговеется[83]. Вишь, гунство проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. — Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик… порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..

Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему

[83] Сноски: 83

Разговеться — разрешить себе употреблять в пищу мясо и другую скоромную пищу после поста; скоромная пища — пища от теплокровных животных: мясо, молоко, масло, яйца и т. д., у католиков — только мясо.

звание алгиазила[84].

— Славный у тебя ус, пан! — проговорил он, подступив к нему близко.

— Хороший! У тебя, холопа, не будет такого, — произнес он, расправляя его рукою.

— Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить! — Мощный козак дернул сильною рукою так, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закряхтел и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы.

— Рубите его, рубите, лайдака! — кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака и, увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил…

— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого.

Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак

---

[84] Сноски: 84
Алгиазил — алгвазил (*араб.*) — жандарм.

2 нрзб, отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб.

— Добродию! ведь я вас знаю.

— Может быть, и правда.

— Ей-богу, знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу, знаю! Чи вы Остраница, чи вы Омельченко?

— Может, и он.

— Ну, так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, то Остраница. Ее-ей, Остраница. Да, может быть, и нет. Может быть, и не Остраница. Нет, Остраница. Ей, тебе так показалось! Ну, как нет? Остраница да и Остраница. Как только послушал голос, ну, тогда и рукою махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на том свете! — так же разумно, бывало, каждое слово отметит.

Остраница внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Нос, загнувшись вниз, придавал ему несколько горбатое сложение и неподвиж-

ность членам; но зато узенькие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которые, верно, придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах не давали ему противного выражения. Под кобеняком, надетым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел и день был жарок.

— Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что, добродию, — не во гнев будь сказано, — прошу извинить, только хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацки косточки?

— Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана, а Кузубия гуляет с рыбами на дне Сиваша и тянет гнилую воду вместо горелки… Но… ну, после об этом поговорим. Я тебя тоже узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — говорил, целуясь, Пудько. — Как на то, и крашанки[85] нет. Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество… передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто

[85] Сноски: 85
Крашанка — крашеное пасхальное яйцо, писанка.

сердце знало…

— Ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А что ж делать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продал табак. Прошлого году отец с полвоза накупил кремней, дроби, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии[86] относится. Напросился на дороге жидок один. «Свези, человече, на Хыякивску ярмарку, — дам три рубля!» Свез его, как доброго, — и надул проклятый жидок, ей-богу, надул! Хоть бы чвертку горелки дал, гаспид[87] лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли под верх вербуна[88]. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — примолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Остраница поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все бы продал, и жинку и детей бы покинул, пошел бы в ком-

---

[86] Сноски: 86
Мизерия — мелкие хозяйственные предметы.

[87] Сноски: 87
Гаспид — аспид, *здесь:* скряга.

[88] Сноски: 88
Вербун — вербовка (наем в солдаты).

панейство[89]. — При этом Пудько выпрямился и поскакал за Остраницею, который пришпорил сильнее коня своего. — Скажите, добродию, пане сотнику[90], — говорил он, поравнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другой роте какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божии взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снесть всякому христианину, что горелка находится у врагов христианства? А теперь и храмы Божии! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул! А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, подумаешь, пропадает козачества! Вы слышите, как постукивают хлопцы из мушкетов, что земля дрожит? Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там

[89] Сноски: 89

Компанейство — братство, товарищество.

[90] Сноски: 90

Сотник — начальник сотни; сотня — часть казачьего полка, состоящая из ста и более человек.

разговеюсь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.

В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчас увидел причину: на шесте был повешен вверх ногами жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Остраница ужаснулся, увидев это.

— Нужно поспешить, — говорил он, пришпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый[91] народ! Разве этак покозацки делается? — произнес он, возвыся голос.

— Что смотреть его! — послышался говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить из рук.

— Послушайте, у кого есть свой разум.

---

[91] Сноски: 91

Посполитый — так в Украине второй половины XVII–XVIII вв. называли того, кто относился к крестьянам; посполитыми крестьянами в тот же период называли крестьян, живущих на Левобережной и Слободской Украине.

— Он правду говорит, — говорило несколько умеренных.

— Молоды вы еще; я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех — то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда ж три на одного нападут — то все не козаки. Бабы они тогда, то, что… плюнуть хочется; для святого праздника не скажу срамного слова. Как же хочете теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Остраница, заметив внимание, — как назвать тех?..

— А чем назвать его? — заговорили многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы или того, что он постыдился сказать? мы не знаем.

— Э, не к тому речь, паноче, своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?

— Глупы вы еще: невелик, видно, ус у вас, — продолжал Остранпца. При этом многие ухватились за усы и стали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. — Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово Божье.

Верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина», — сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «Постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною в оглоблю и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват: дубина разве?

— Нет, нет, — кричала толпа, — тут виноват, виноват король!..

Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница выехал из местечка и пришпорил коня сильнее и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя та-

кой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Остраницы он все это пересказывал своему Гнедку… «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, неважно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко! Он зато враг Христов, нашего Бога святого. — Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его россказнями, конь развесил уши и начал ступать уже шагом — Оно не так далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а меня сивухою попотчуют. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что Бог повелел

говорить только человеку да еще одной маленькой пташке…»

При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать по-прежнему… Но, вместо того чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Остранице, давно скакавшему по проселочной дороге.

Глава 2

Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на

самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори[92]. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, и, весь убранный повиликой[93], плющом, величаво расширял свою верхушку? над ними и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противуположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебро-розовые цветы свои, между тем как из дерев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколиственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий

---

[92] Сноски: 92
Осокорь — серебристый тополь.

[93] Сноски: 93
Повилика (*бот.)* — вьюнок.

глод[94], оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из чащи? часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже дорога становилась шире, и, наконец, открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестела прерванная нить реки, и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать по лбу[95]. Долго стоял он в таком положении; наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, светлица[96]. Очеретяная ее крыша, местами поросшая зеле-

[94] Сноски: 94
Глод (*бот.)* — боярышник.

[95] Сноски: 95
Поваживать по лбу — *здесь:* потирать лоб.

[96] Сноски: 96
Светлица — чистая, светлая комната, гостиная, горница; горница — комната, покои.

нью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебро-розовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь идти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.

— Дома пан? — спросил путешественник.

— Дома, — отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.

— А пани?

— И пани дома.

— А панночка? — Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

— И панночка дома.

— Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам другой, еще и злотый[97].

— Дай! — говорила простодушно девочка, протягивая руку.

— Дам, только пойди наперед к панночке и

---

[97] Сноски: 97
Злотый — польская монета.

скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?

— Скажу.

— Как же ты скажешь ей?

— Не знаю.

Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле[98]. Шелковая плахта[99] и кашемировая запаска[100] туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных членов не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках[101],

---

[98] Сноски: 98

Гребля — плотина, запруда.

[99] Сноски: 99

Плахта — женская одежда из шерстяной клетчатой ткани, которую оборачивают вокруг пояса вместо юбки.

[100] Сноски: 100

Запаска — разновидность женской юбки, состоящей из двух полотнищ, накладываемых спереди (передник) и сзади (плахта, задник).

[101] Сноски: 101

Мережка — вышивка, разного вида шитье по краю одежды.

спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули, как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.

— Откудова ты, человек добрый? — спросила она, увидев козака.

— А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы.

Девушка вспыхнула.

— А ты видел его?

— Видел. Слушай…

— Нет, говори по правде! Еще раз: видел?

— Видел.

— Забожись!

— Ей-богу!

— Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где ж ты его видел? Что, он позабыл меня?

— Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..

Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова.

— Как ты сюда прилетел? — говорила она шепотом. — Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украйны.

— Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?

— Люблю, — отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе: убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию или хоть к султану, и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут, на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем, —

сукон[102], епанечек[103], чего захочешь только.

— Нет, нет, козак, — говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице. — Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? «Глядите, люди, — скажет она, — как бросила меня родная дочка моя!» — Слезы покатились по ее щекам.

— Мы не надолго ее оставим, — говорил Остраница, — только год один пробудем на Перекопе или на Запорожье, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой.

Галя качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

— Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь, — тогда и не то будет со мною.

— Нет, полно. Ты не то, ты — козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если бы я была козаком, и я бы

---

[102] Сноски: 102
Сукня — женское платье.

[103] Сноски: 103
Епанча — широкий плащ без рукавов, бурка.

закурила люльку, села на коня — и все мне (при этом она махнула грациозно рукой) трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменил долю… Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: «Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится — то что она замуж выходит, то что рядят ее в богатое платье, но всё с черными пятнами».

— Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня, — говорил Остраница, поворотив голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди: я, как хмелинонька около дуба, вьюсь к тебе, — говорила она, обвивая его руками. — Я без тебя не живу.

— Может быть, вместо меня какой-нибудь другой, с шпорами, с золотою кистью?.. что доброго! может быть, и лях?

— Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе? Зачем ты укоряешь меня так? — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

— О, ваш род таков, — продолжал всё так же Остраница. — Вы, когда захотите, подымете такой

вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле…

— Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?

— Едешь со мною или нет?

— Еду, еду!

— Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка! — говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя… За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?

— Он спал в саду под грушею. Теперь, я слышу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит. — При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу…

Остраница медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как бы желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

Глава 3

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш, верно бы, досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою рукою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу,

заставляли его иногда браться рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. «Кто такой?..» Наконец ворота отворились. Остраница въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откудова взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог открыть это? Если бы точно узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что он не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад или остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. «Но пойдемте, добродию, в светлицу: здесь не в обычае говорить и слишком многолюдно», — отвечал последний. В сенях вышла старая ключница[104], бывшая нянькою

[104] Сноски: 104

Ключница — служанка в доме, у которой были ключи от места, где хранились еда и питье.

нашего героя, с каганцом[105] в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать:

— Чего вас черт носит сюда? Всё только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили?

— Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш.

Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула:

— Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменился весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.

Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба! — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. — Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь.

— Довольно, Горпина, — прервал Остраница. — Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?

— Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был,

---

[105] Сноски: 105
Каганец — лампадка, ночник.

носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!

И старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпино! — сказал Остраница, приметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. — Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай святой пасхи, потому что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего и даже не попробовал пасхи.

— Да ты ж вот ото и пасхи не отведывал, бедная моя головонька! Несчастная горемыка я на этом свете! Охо, хо!

Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, ключница? снова была готова завыть, если б не увидела над собою замахнувшейся руки запорожца.

— Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота Господу Богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был, или бог знает что ему тогда было…

Остраница вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога,

голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины все то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но, однако ж, поправками, приделками ветхое строение простояло около пятидесяти лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта

белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческим лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет деда Остраницы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парою пистолетов, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: «*Козак, душа правдивая, сорочки не мае*», — которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними, на длинной деревянной доске, нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам[106], при-

[106] Сноски: 106

Авраам (*библ.)* — по библейскому писанию — родоначальник евреев. Должен был принести в жертву Богу своего сына Исаака, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом.

целивающийся из пистолета в Исаака[107]; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты…

Остраница между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром… «Вот тебе, паночиньку мой, и разговены! Вот тебе и сметанка! — говорила она. — Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному… А вот Господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!»

Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод

[107] Сноски: 107

Исаак (*библ.)* — сын Авраама, которого тот сделал своим единственным наследником.

рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил:

— Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..

Это остановило намерение Горпины…

— Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..

— Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пуги[108] Горпинину ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпино! полно тебе! — проговорил, поднявшись, Остраница. — А не то я, несмотря на то что ты стара и что нянчила меня, сниму со стены вот этот батог; видишь ты этот батог?

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?

— А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь.

— Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душной хате, а на вольной земле, под небом.

Запорожец натянул на себя кобеняк и пошел

---

[108] Сноски: 108

Пуга — подушка, на которой плетут кружева.

вслед за Остраницею из светлицы, в которой чуть было не упал, зацепившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся в кожух туловище. Остраница узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противуположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!» — и тому подобное. Остраница попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову бочонок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую

музыку. Скоро все уснули.

Глава 4

Однако ж Остраница долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозгу. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. «Нет, я хочу, — говорил он, разбрасывая руками, — чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнёт мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям… И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония… а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не

знает, что за муку произвела». Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, читатели узнают сколько-нибудь жизнь героя. «И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери? Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь — сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие призрели[109]. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой: ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал

[109] Сноски: 109
Призреть — взять под опеку, заботиться.

я на родину сирота сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однако ж, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину — и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи! Захотел Бог погубить людей за беззаконья и послал вас. Собиралось компанейство отмстить за ругательства над Христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке. Еще бы можно было поправить; вражья потеря, верно б, была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво — любовь! Ни об

чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и все бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что… Как же придумать?.. Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Остраницу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда… бог знает, что тогда будет! Только все лучше, я буду близ нее жить…» Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Остраница; уже он обнимал в мыслях и свою Галю, вместе уже воображал себя с нею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае… Но настоящее опять вторгалось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеняк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

Глава 5

Как только проснулся Остраница, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбараки[110], женские парчовые кораблики[111], белые намитки[112], синие кунтуши — одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа он должен был перецеловаться и принять неимоверное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, то против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сде-

---

[110] Сноски: 110

Байбарак — женская праздничная шуба особого покроя.

[111] Сноски: 111

Кораблик — старинная теплая мужская или женская шапка, у которой задний и передний концы загнуты кверху.

[112] Сноски: 112

Намитка — белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

лали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь ослушаться власти атамана, который, наконец, гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенания при каждом ударе. Атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына.

— Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется? А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так… — Тут атаман, наконец увидев, что молодой преступник, несмотря на все старание устоять на месте,

готов был закричать, остановился. — Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись! — Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги. — Говори, любезный: «Благодарю, атаман, за науку!»

— Благодарю, атаман, за науку.

— Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!

— Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще не христосовались.

— Воистину воскрес! — отвечал атаман.

— Нет ли у тебя в запасе губки[113]? Охота забирает люльку затянуть.

При этом Остраница вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

— Как не быть! Это занятие, когда материя[114] не клеится.

— Я хотел сказать тебе дело, — примолвил Остраница с некоторою робостью.

— Гм! — отвечал атаман, вырубливая огонь.

---

[113] Сноски: 113

Губка — простейшее многоклеточное беспозвоночное животное, которое живет в теплых морях; имеющий пористую структуру скелет этих животных, применяющийся для мытья, вытирания и т. д.

[114] Сноски: 114

Материя — *здесь:* разговор, тема для разговора.

— Мое дело не клеится.

— Не клеится? — промолвил атаман, раскуривая трубку. — Погано!

— Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь.

— Не достанется?.. Погано!

— Придется нам возвратиться ни с чем.

— Гм!..

— Что ж ты скажешь? — спросил Остраница, удивленный таким неудовлетворительным ответом.

— Когда воротиться, — отвечал запорожец, сплевывая, — так и воротиться.

Остраницу ободрило такое равнодушие.

— Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву.

— Гм! — отвечал атаман.

— Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!

При этом слове грянула музыка, и вместе с нею грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.

Глава 6

— Что он себе думает, этот дурень Остраница? — говорил старый Пудько. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. — Молод козак, ус еще не прошибся! — Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется с старшими. — Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко! — Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит, и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло, иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг поражал. Нужно было вглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза

черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастие, необитаемое на земле? И все прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное повиновение.

II. Кровавый бандурист. Глава из романа

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом рейстровых коронных[115] войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно, для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет[116] был

[115] Сноски: 115

Реестровые коронные войска — войска, состоящие на государственной службе и внесенные в особый список — реестр.

[116] Сноски: 116

Лафет (*нем.* lafette) — станок под артиллерийское орудие.

укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо — и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогивая от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противуположных частей, стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура

византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Терем-те-те, поповство проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетний выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в

церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрыпом отворились, — и четыре монаха, предшествуемые игуменом[117], предстали бледные, с крестами в руках.

— Изыдите, нечистые! кромешники[118]! — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изыди, диаволе!

— Але то еще и брешет, поганый собака! — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак, же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Что вы за люди? Я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь? — произнес настоятель.

— Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов!

---

[117] Сноски: 117

Игумен — настоятель православного монастыря.

[118] Сноски: 118

Кромешник — обитатель кромешни; кромешня — место, куда попадают души грешников, ад.

— На что вам ключи от наших погребов?

— Я, глупый поп, не буду с тобою говорить! Але ты хочешь, басе мазенята, поговори з моим конем: нех[119] тебе отвечает из-под…

— Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только у меня нет вина! Как Бог свят, нет! Ни одной бочки, ни бочонка, и ничего такого, что бы вам было нужно.

— А то мне какое дело! Ребята хочут пить. Я тебе говорю, же ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

— За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасною силою своею! Верно,

---

[119] Сноски: 119

Нех — разг. форма от *нехай* (*укр.*) — пусть, пускай.

опять какой-нибудь мученик за веру Христову!

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе; что жизнь и смерть — трын-трава[120]; что величайшее наслаждение — табак и водка; что рай там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и

[120] Сноски: 120

Трын-трава — все ничтожное, вздорное, пустое, не стоящее внимания.

несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и зáмков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Пред ней остановился он и оглядел ее значительно снизу доверху. «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, — и от брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже! какое обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть,

распустившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами[121], которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели толстыми клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь была бы здесь красавицею.

— А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу! Але тебе, псяюхе, тут

[121] Сноски: 121

Гном (от *позднелат.* gnomus) — в западноевропейской мифологии — уродливый карлик, охраняющий подземные сокровища.

добре будет спать. Сам ложись на ковалки[122], а под голову подмости ту жабу али возьми ее за женку на ночь!

Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на средину и слышал только, как заскрыпела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна, свет пропал, и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа[123], когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был».

После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда

---

[122] Сноски: 122

Ковалки (kowalka (*пол.*) — жена кузнеца; kowarka (*пол.*) — машина для ковки). Здесь, возможно: предмет, напоминающий по форме ковочную машину.

[123] Сноски: 123

Заступ — железная лопата.

удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилось в темноту. Все было на время забыто — и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир. Ему начали показываться во мраке светлые струи — последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна, — которого, увы! не было в его темнице, — проносился перед ним. Лазурь[124] фантастически

[124] Сноски: 124
Лазурь — синяя краска.

мелькала в черной его раме, потом изменилась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определительность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. он вскрикнул… и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существенности. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал от радости, что, наконец, схватил того, кто им был нужен!

— Попался, псяюха! — говорил усастый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведаемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

Жолнеры[125] опустились вниз и нашли пленника лежащего без чувств.

— Дай ему понюхать чего-нибудь!

Один из них немедленно насыпал ему на руку пороху, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул и поднял голову, будто после беспокойного сна.

— Толкните его дубиной! рассказывай, теремте-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?

Пленник молчал.

— А то я тебя спрашиваю, псяюха! Скиньте с него наличник[126]! Сорвите с него епанчу! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?

Жолнеры принялись — разорвали верхнюю епанчу тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали наличник... и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задро-

---

[125] Сноски: 125

Жолнеры — солдаты, поставленные для обозначения линии фронта.

[126] Сноски: 126

Наличник — маска, покрывало на лице.

жавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

— Але то баба? — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

— Баба! — отвечали некоторые.

— А то как могла быть баба? Мы козака ловили.

Предстоящие пожали плечами.

— На цугундру[127] бабу! Как ты, глупая баба, дьявол бы тебя!.. Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Острожаница?

Полуживая не отвечала ни слова.

— То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Ломайте ей руки!

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, белизною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

— Что? скажешь теперь, бесова баба?

— Скажу! — простонала жертва.

— Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!

---

[127] Сноски: 127
Цугундра — непр. форма от *цугундер* — расправа.

— Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!

— То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пещеры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.

Допросчик содрогнулся и положил невольно на себя крест, потому что он всегда считал себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

— Говори! — проговорил снова неумолимый

допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани.

Она молчала.

— А ну, принимайтесь! — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копья, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства человеку, эти белые руки должны были вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу с не совсем оглохлыми чувствами недостало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто пред нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движени-

ем муки, и губы задрожали.

— Говори, я тебя!.. поганая лайдачка[128]!.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда послышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был… ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был… у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был… ужасно! — это был человек… но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура[129] на кожаной

---

[128] Сноски: 128
Лайдачка — распутница, негодница.

[129] Сноски: 129
Бандура — струнный музыкальный инструмент.

ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза…

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратилось, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Собравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной коридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей…

1832

III. Глава из исторического романа

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне Пирятинский повет от Лубенского. Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная — по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был, на расстоянии двадцати пяти или пятидесяти ружейных выстрелов, выведывать и выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повода и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшиеся кочки и пни срубленных дерев, заставляя спотыкаться верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы,

которые снова обычным ожерельем низались в голове его. В первый раз еще случалось ему выполнять такое поручение: ехать бог знает куда, в незаселенные степи Украйны! И кто этот Глечик?.. Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения и с кем… К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства[130].

Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый Божий мир. В

---

[130] Сноски: 130
Посольство — *здесь:* послать с поручением.

это время путник наш после долгого степного странствия въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и, казалось, дрожали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос «цоб, цоб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрыпел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небе. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дюжего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно отте-

няла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям серебрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп[131], затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния вдобавку накинут был обыкновенный кобеняк из толстого смурого сукна, который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль[132] и изогнутая татарская сабля — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

— Помогай Боже! — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того уважения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило название

---

[131] Сноски: 131
Нагольный тулуп — тулуп без покрышки, кожей наружу.

[132] Сноски: 132
Пищаль — тяжелое ружье; артиллерийское орудие.

ляха или принадлежало ляхам, принужден был переменить щегольской костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклонением головы на сие приветствие.

— Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромодановского шляху?

— Не сумею, добродию, сказать вдруг; повремените немножко. — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать… оно не так чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем, бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят… так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее… то станется, что и далеко… Только опять же как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко и близко.

— Куда же, по крайней мере, мне теперь держать путь? — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног.

— А вы, добродию, хотите теперь ехать?

— Почему же не теперь?

— Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита, чтобы заслышать собачий лай с моего двора. Все бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с богом!

От такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидал.

— А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?

— Еду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, к миргородскому полковнику Глечику. Что, земляк, не знаешь ли и ты его?

— Как не знать этой старой собаки! А из каких мест бог несет?

— Из великой станицы, что под Лохвицею.

— Как же это, добродию, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его душу. — И то сказать! где уже мужику знать все про войсковые дела; до нашего захолустья еще и слухи не дошли об этом.

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в россказнях и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал:

— То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он как угорелый; из расспросов его я ничего не мог

узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы… Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне… то есть… он… ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-богу, нет; где нам понять! У нас и голова не так сделана, как у панов: черт знает что такое: больше на капусту похоже, чем на голову.

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно осторожнее в словах.

Он во все это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батогом и потягивая коротенькую люльку[133]. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря[134], выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться

---

[133] Сноски: 133
Трубку. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[134] Сноски: 134
Упырь — оборотень, вампир.

ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки, — видишь ли сосну, вон далеко, далеко чернеет перед нами?

И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы севера? Невольно вперил он на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво. Лет за пятьдесят перед тем, как мы балагу-

рим с вами, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоромах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина и от песен, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое делали… враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши[135], самопалы[136] и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон, как уже его звали и из какого приходу он был, ей-богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьем, то я, может статься, показал бы вам останки этого дьявольского гнезда. На ту пору, — так, видно, сам Бог уже хотел, — был у них какой-то окаянный

[135] Сноски: 135
Бердыш (*устар.)* — широкий топор.

[136] Сноски: 136
Самопал — фитильное ружье.

праздник. Дьякон шел уже напропало, сказал: «Господи, благослови!» — и, сколько доставало духу, толкнулся в ворота, запертые толпившимся народом. Цимбалы[137] и бандуры бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк[138]. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожьем!» Дьякон, исполнившись, видно, святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле[139], только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, так ты еще и проповедь читаешь? Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос[140], а

---

[137] Сноски: 137

Цимбалы — старинный музыкальный инструмент в виде плоского деревянного корпуса с металлическими струнами, по которым, для извлечения звука, бьют молоточками.

[138] Сноски: 138

Краковяк — быстрый польский народный танец.

[139] Сноски: 139

В аде. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[140] Сноски: 140

Крылос — огороженное перед иконостасом место для певчих.

чтоб не застудил горла, накиньте ему гластук на шею!» И тут же челядь, с нечеловечьим смехом и гиканьем, втащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и, как нарочно еще, перед самыми окошками панской светлицы. Вот, как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, — пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан, — отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может быть в первый раз отроду, наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж

ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну, — так секира не берет: что ни ударят, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились, наконец, бросить это окаянное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще черти не бьются на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, бог знает куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые всё места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна, протягивая ветви, словно руки, хватает пана и обдает его кровавыми каплями, а черная всклокоченная борода так же жутко кивает ему… — Тут рассказчик наш стремительно ударил в слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удовольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывавшегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время поравнялись они с сосной. Серебряный свет падал на печальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встречные деревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ветер слегка

покачивал вершину, и когда путник, немного проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, величественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленые объятия свои, в намерении схватить его.

— Что же далее случилось? — спросил он умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником[141], и как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала[142] каплет с этого дерева день и ночь роса. Говорят еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане, в каком ходил и покойный пан… Цоб, цоб, цобе!

---

[141] Сноски: 141

Схимник — монах.

[142] Сноски: 142

Купала — мифологический персонаж у славян, связанный с обрядом купания и прочим в ночь с 6 на 7 июля; сам обряд и время его празднования.

гей! Вот мы, добродию, и приехали.

Лапчинский увидел действительно перед собою низенькие ворота, редко убитые впоперек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накинутом на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешаны были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая[143] жизнь его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку; в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолепие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было до-

[143] Сноски: 143
Буколическая — сельская.

вольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдинов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе. Всю комнату обходили липовые, широкие и узкие, лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу, заслоненным частою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то что она, желая забавить его, побрякивала огромным замком и стращала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен

и лежал близ него на полке, вероятно отложенный для подчинки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на несходные их свойства.

— Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного! — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща.

При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем

проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим.

— Ай да Федот! — говорил он, поднимая одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный сонечник?[144] Да этим ты как-нибудь человека убьешь. Ты что там делаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я тебе гостинец привез! Ступай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз толкую, что я его батька; до сих пор не верит, ледача детина![145] А ты, плакса, долго будешь реветь? А подайте мне батог, вот я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко: пусть там съедят его волки либо ляхи…

— Тебя таки, земляк, Бог наделил детьми? — сказал гость наш своему хозяину.

— Да, не без того, мосьпане! всех-то их у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает какое приданое взяли за неве-

---

[144] Сноски: 144

Сонечник — подсолнечник, по малороссийскому произношению. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[145] Сноски: 145

Ледача детина — негодный ребенок. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

стами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо? Пан дает пряник, а он и не поклонится. Не извольте целовать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мне с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку: «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми да возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что боже упаси! Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою. Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять; баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и садясь за стол, — говоришь ты, едешь? У меня под старость голова как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто; сколько ни толкуй умных речей, все позабудет.

— Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика? — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как

он, сидит перед тобою, мосьпане!

Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись… когда… Нет, не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

1830

IV. Мне нужно видеть полковника

1

— Мне нужно видеть полковника, я к нему имею дело, — говорил почти отрок семнадцати лет.

— Тебе полковника?.. — произнес с расстановкою сторожевой козак перед большою ставкою, рассматривая и переминая на своей ладони с какой-то недоверчивостью грубый крошеный табак — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света. Трубка давно у него была в зубах. — На что тебе полковник? — При этом он взглянул на просителя. Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет шестнадцати, уже с мужественными чертами лица, воспитанного солнцем и здоровым воздухом, в полотняном крашеном кунтуше и шароварах. — С тобою не станет говорить полковник, — примолвил козак, поглядев на него почти презрительно и *1 нрзб* закинув назад алый рукав с золотым шнурком.

— Отчего же он не станет со мною говорить?

— Кто ж с тобою станет говорить? ты еще недавно молоко сосал. Если б у тебя был хоть суконный кунтуш да пищаль, тогда бы конечно… Ведь ты, верно, попович или школяр? Знаешь ли ты этот инструмент? — примолвил козак с видом самодовольной гордости, указав на трубку.

— Да думать…

Но молодой воин остановился, увидевши, что козак вдруг онемел, потупил глаза в землю и снял шапку, до того заломленную набекрень. Двое пожилых мужчин — один в коротком плаще с рукавами, выстеганными золотом, с узорно вычеканенными пистолетами, другой в шитом кафтане с серебряною привесною к поясу чернильницею — прошли мимо и вошли в ставку. Дрожа и бледнея, шмыгнул за ними молодой человек и вошел в ставку.

Молодой человек ударил поклон в самую землю от страха, увидевши, как вошедшие перед ним богатые кафтаны поклонились в пояс и почтительно потупили глаза в землю с тем безграничным повиновением, которое так странно вмещалось вместе с необузданностью, чем особенно славились козацкие войска. Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет пятьдесят. Волоса у него стали седеть,

сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять *1 нрзб*. На нем были широкие, синие с серебром, шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам своею рукой чинил свое седло, когда вошли к нему писарь и есаул.

— Здравствуйте, панове, мои верные, мои добрые товарищи. Вот вам приказ: не пускать далеко на попас, потому что татарва теперь рыскает по степям. Идти как можно подальше, избирайте траву повыше, и шапки даже не снимайте. Да чтоб козаки не стреляли по дорогам дрохв и гусей, потому что и порох избавят даром, да что за мясоед такой козаку? Сухари да вода — то козацкая еда. А вы, мой любый кум и мой любезный приятель (при этом он оборотился к писарю), сделайте сей же час прокличку и запишите всех, кто налицо. Да смотрите оба, чтобы все было как следует; а то, я вам скажу, вчера я видел, как

козак кланялся что-то слишком часто на коне. Я хотел было *1 нрзб* его, да жаль было заряда: у меня пистолет был заряжен хорошим порохом…

2

— Мне нужно к полковнику. Я хочу видеть самого полковника.

— Тебе полковника? — говорил полунасмешливым и полупрезрительным тоном сторожевой козак, потряхивая откидными рукавами алого цвета с золотым шнурком и поглядевши пристально на просителя, почти отрока, в темном длинном кунтуше. — Подожди немножко.

— Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю.

— Подожди немножко.

— Да до коих пор ждать мне?

— А вот, пока подрастешь, — отвечал хладнокровно козак, готовя и прочищая свою трубку.

— Дядюшка, ты мой батька, мать моя родная, пусти к полковнику!

— Какого тебе дьявола нужно? Пан полковник не станет говорить с такими, как ты.

— Не будет говорить, так прогонит. Пусти только меня.

— Нельзя, пан полковник теперь спит.

— Лжет он. Я не сплю, — послышался голос из ставки.

Козак привстал. Молодой проситель вздрогнул; бледность вдруг осенила его лицо, и сердце начало так сильно биться, что другому можно было слышать его.

— Ну, ступай, иди. Чего же стал!

Но обеспамятевший насилу мог собраться с духом. В это время пошли в ставку есаул и полковой писарь. Обрадовавшись этому случаю, он скрепился и пошел вслед за ними.

Сорочинская ярмарка

I

Мені нудно в хаті жить. Ой, вези ж мене із дому, Де багацько грому, грому, Де гопцюють все дівки, Де гуляють парубки![146]

Из старинной легенды

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную,

[146] Сноски: 146

Мне скучно жить в хате,/Вези же меня из дома,/Туда, где много шума, шума,/Где все девушки танцуют,/Где парни веселятся.

как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот… восемьсот… Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра[147] хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгля-

[147] Сноски: 147

Макитра — большой, широкий горшок для растирания мака или табака.

ды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одиноко в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою[148], полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительно-

[148] Сноски: 148
Пенька — волокна конопли.

сти: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново… и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга… но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шах-

матная доска, и в ситцевом цветном очипке[149], придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно-и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, — она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и

[149] Сноски: 149

Очипок — чепец, который надевают замужние женщины под платок.

окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» — поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек[150], подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть,

[150] Сноски: 150
Смушка — шкурка ягненка (ягнячья овчина).

ему принадлежало произнесенное слово.

— Славная дивчина! — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. — Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

— Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!

— Вишь, как ругается! — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий, — и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

— Столетней! — подхватила пожилая красавица. — Нечестивец! поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах…

Тут воз начал спускаться с мосту, и последних

слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригородье к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

II

Що, боже ти мій, господе! чого нема на тій ярмарці! Колеса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі… так, що хоч би в кишені було рублів і з тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки[151].

Из малороссийской комедии

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро,

[151] Сноски: 151

Господи, боже ты мой! Чего только нет на этой ярмарке! Колеса, стекло, дёготь, табак, ремень, лук, торговцы разные… так, что если бы и было в кармане рублей тридцать, то и тогда не закупил бы всей ярмарки.

нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты[152]. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал

[152] Сноски: 152
Дукат — женское украшение в виде монеты, которое носили на шее.

бабе киселя[153]; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою… Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась — и парубок в белой свитке, с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

— Не бойся, серденько, не бойся! — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, — я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица, — только мне чудно… верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так… а силы недостает взять от него руку».

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам[154], и приковавшегося

---

[153] Сноски: 153
Давать киселя — вытолкать коленом под зад.

[154] Сноски: 154
Негоциант — торговец.

к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.

III

Чи бачиш, він який парнище? На світі трохи єсть таких. Сивуху так, мов брагу, хлище![155]

Котляревский, «Энеида»

— Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? — говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых[156], запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу.

— Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

— Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, — возразил человек в пестрядевых шароварах.

---

[155] Сноски: 155

Видишь, какой он парень?/На свете немного таких./Сивуху хлещет, будто брагу.

[156] Сноски: 156

Пестрядевый — сделанный из пестрядины (грубой полосатой или пестрой ткани).

«Да, говорите себе что хотите, — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов, — а у меня десять мешков есть в запасе».

— То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, — значительно сказал человек с шишкою на лбу.

— Какая чертовщина? — подхватил человек в пестрядевых шароварах.

— Слышал ли ты, что поговаривают в народе? — продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

— Ну!

— Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь — в слуховое окно выставилось

свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка*!

— Что ж это за *красная свитка*?

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

— Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши *дружкою*[157], уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

— Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

— Может, и узнал.

— Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую

[157] Сноски: 157

Дружка — в свадебном обряде — женатый мужчина со стороны жениха, затейник и ведущий на свадьбе.

всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

— Так, Солопий Черевик.

— А вглядись-ко хорошенько: не узнаешь ли меня?

— Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех!

— Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!

— А ты будто Охримов сын?

— А кто ж? Разве один только *лысый дидько*[158], если не он.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

— Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

— Что ж, Параска, — сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того… чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

---

[158] Сноски: 158

Лысый дидько — домовой, демон. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации — под яткою у жидовки, усеянною многочисленной флотилией сулей[159], бутылей, фляжек всех родов и возрастов.

— Эх, хват! за это люблю! — говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварты[160] и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. — Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода — двух знаменитых городов Полтавской губернии, — выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

---

[159] Сноски: 159
Сулея — большая бутыль.

[160] Сноски: 160
Кварта — кружка; мера жидкости, равная 1/8 или 1/10 части ведра.

IV

Хоть чоловікам не онеє, Та коли жінці, бачиш, теє, Так треба угодити…[161]

Котляревский

— Ну, жинка! а я нашел жениха дочке!

— Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень, дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

— Э, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты не поморщившись.

— Ну, так: ему если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый

---

[161] Сноски: 161

Хоть мужьям и не нравится,/Но, если жена, видишь, хочет того,/То нужно угодить…

сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне: я бы дала ему знать.

— Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?

— Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

— Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

— Эге! да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего…

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей су-

пруги. — Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что, Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

V

Не хилися, явороньку, Ще ти зелененький; Не журися, козаченьку, Ще ти молоденький![162]

Малоросс. песня

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц[163] горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок[164], мужиков

[162] Сноски: 162
Не клонись, яворок,/Ти еще зелененький;/Не печалься казачок,/Ты еще молоденький.

[163] Сноски: 163
Оконница — оконная рама.

[164] Сноски: 164
Перекупка — торговка.

и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

— О чем загорюнился, Грицько? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай волы за двадцать!

— Тебе бы всё волы да волы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

— Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

— Нет, это не по-моему: я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга[165]: сказал, да и назад… Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам…

— А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?

---

[165] Сноски: 165
Шеляг (шелег) — обесцененная монетка, служащая игрушкой.

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов — все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы; башмаки, надетые на босые загорелые ноги, — все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

— Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только! — отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей.

— За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица[166] в

[166] Сноски: 166

Синица — денежная ассигнация синего цвета достоинством в пять рублей.

задаток!

— Ну, а если солжешь?

— Солгу — задаток твой!

— Ладно! Ну, давай же по рукам!

— Давай!

VI

От біда, Роман іде, от тепер як раз насадить мені бебехів, та й вам, пане Хомо, не без лиха буде[167].

Из малоросс. комедии

— Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян.

— Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи? — лепетала заботливая Хивря.

— Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! — болезненно и шепотно произ-

---

[167] Сноски: 167

Вот беда, идет Роман, вот теперь меня как раз и поколотит, да и вам, пан Хома, достанется.

нес попович, подымаясь на ноги, — выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

— Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или соняшница[168] пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слыхала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

— Сущая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей[169] с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! — продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

— Вот вам и приношения, Афанасий Ивано-

---

[168] Сноски: 168

Соняшница — болезнь, сопровождаемая рвотой и режущей болью в животе.

[169] Сноски: 169

Книш — спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

вич! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, — варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

— Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода! — сказал попович, принимаясь за товченички и подвигая другою рукою варенички. — Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

— Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович! — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

— Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна! — шепотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее.

— Бог знает что вы выдумываете, Афанасий Иванович! — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. — Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!

— Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя, — продолжал попович, — в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню…

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота.

Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

— Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос…

Вареник остановился в горле поповича… Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

— Полезайте сюда! — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была завалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

VII

Та тут чудасія, мосьпане![170]

Из малоросс. комедии

На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то что продавщица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой.

---

[170] Сноски: 170
Да тут чудеса, милостивый государь!

К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

— Что, кума, — вскричал вошедший кум, — тебя все еще трясет лихорадка?

— Да, нездоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски.

— А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! — говорил кум приехавшей с ним жене, — мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! — продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. — Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось

ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!

— Отчего же ты вдруг побледнел весь? — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

— Я?.. Господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

— Куда теперь ему бледнеть! — подхватил другой, — щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк — или, лучше, сама *красная свитка*, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилася по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму:

— Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*.

— Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь, да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

— Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.

— Как же, кум? — прервал Черевик, — как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла?

— Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

— Бог знает, что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

— Вот то-то и штука, что на нем была шапка

и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял — наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!» — и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушел; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу, — слышит шорох… глядь — во всех окнах повыставлялись свиные рыла…

Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи; все побледнели… Пот выступил на лице рассказчика.

— Что? — произнес в испуге Черевик.

— Ничего!.. — отвечал кум, трясясь всем телом.

— Ась! — отозвался один из гостей.

— Ты сказал?..

— Нет!

— Кто ж это хрюкнул?

— Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

— Эх вы, бабы! бабы! — произнесла она громко. — Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости Господи… Под кем-нибудь скамейка заскрыпела, а все и метнулись как полоумные.

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

— Жид обмер; однако ж свиньи, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом

оживили жида плетеными тройчатками[171], заставя его плясать повыше вот этого сволока[172]. Жид — в ноги, признался во всем… Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь — не горит бесовская одежда! «Э, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и

[171] Сноски: 171
Плетеные тройчатки — плетки с тремя хвостами.

[172] Сноски: 172
Сволок — балка для опоры потолка в домах; вал на ткацком станке.

подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от…

Другая половина слова замерла на устах рассказчика…

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

VIII

...Піджав хвіст, мов собака, Мов Каїн, затрусивсь увесь; Із носа потекла табака[173].

Котляревский, «Энеида»

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!» — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» — горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый

---

[173] Сноски: 173

...Поджал хвост, как собака,/Затрясся весь, будто Каин;/Из носа потек табак.

горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним… Дух у него занялся… «Черт! черт!» — кричал он без памяти, утрояя силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Черт! черт!» — кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

Ще спереду і так, і так; А ззаду, ей же ей, на черта![174]

Из простонародной сказки

— Слышишь, Влас, — говорил, приподнявшись ночью, один из толпы спавшего на улице народа, — возле нас кто-то помянул черта!

— Мне какое дело? — проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган, — хоть бы и всех своих родичей помянул.

— Но ведь так закричал, как будто давят его!

— Мало ли чего человек не соврет спросонья!

— Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а выруби-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

— Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут прислало к ним еще несколько человек.

---

[174] Сноски: 174
Спереди еще кое-как;/А сзади, ей-же-ей, точно черт!

— Что лежит, Влас?

— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!

— А кто наверху?

— Баба!

— Ну вот, это ж то и есть черт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

— Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить! — говорил один из окружавшей толпы.

— Смотрите, братцы! — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика, — какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

X

Цур тобі, пек тобі, сатанинське навождéніе![175]

Из малороссийской комедии

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по всему табору — и страшные толки про *красную свитку*, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, между волов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени — благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

— Вставай, вставай! — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

---

[175] Сноски: 175
Чур меня, чур, сгинь дьявольское наваждение!

Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

— Сумасшедший! — закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которою он чуть было не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг.

— Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум…

— Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали…

— Как же, жинка, — подхватил Солопий, — с нас ведь теперь смеяться будут.

— Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

— Ты видишь, что я еще не умывался, — продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

— Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску…

Тут схватила она что-то свернутое в комок — и с ужасом отбросила от себя: это был *красный*

обшлаг свитки!

— Ступай делай свое дело, — повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

— Будет продажа теперь! — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. — Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло все!.. Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я черт, — чего, оборони боже, — стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган.

— Что продаешь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

— Сам видишь, что продаю!

— Ремешки? — спросил цыган, поглядывая на

находившуюся в руках его узду.

— Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

— Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил!

— Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул — в ней перерезанная узда и к узде привязанный — о, ужас! волосы его поднялись горою! — кусок *красного рукава свитки*!.. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

За моє ж жито та мене й побито[176].

Пословица

— Лови! лови его! — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

— Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!

— Господь с вами! за что вы меня вяжете?

— Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

— С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

— Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

— Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда…

— Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

— Лови! лови его! — послышался крик на дру-

---

[176] Сноски: 176
За мою рожь меня и побили.

гом конце улицы. — Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.

— Чудеса завелись, — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он как полоумный, — полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки[177] вытащил кусок чертовой *свитки*, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

— Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

---

[177] Сноски: 177
Тавлинка — табакерка.

XII

«Чим, люди добрі, так оце я провинився?
За що глузуєте? – сказав наш неборак. –
За що знущаєтесь ви надо мною так?
За що, за що?» – сказав, та й попустив
патьоки, Патьоки гірких сліз, узявшися
за боки[178].

Артемовский-Гулак, «Пан та собака»

— Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? — спросил Черевик, лежа связанный, вместе с кумом, под соломенною яткой.

— И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаною у матери, да и то еще когда мне было лет десять от роду.

— За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл; но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже

---

[178] Сноски: 178

Это чем, люди добрые, я так провинился?/За что насмехаетесь? — сказал наш бедняга. — /За что издеваетесь так надо мною?/За что, за что? — сказал и, взявшись за бока,/Пустил потоки горьких слез.

написано не иметь счастья!

— Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

— Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицько. — Кто это связал тебя?

— А! Голопупенко, Голопупенко! — закричал, обрадовавшись, Солопий. — Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.

— Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

— Вот, как видишь, — продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку, — наказал Бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя… Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

— Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя! — Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. — За то и ты делай, как нужно: свадьбу! — да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

– *Добре! от добре*! — сказал Солопий, хлопнув руками. — Да мне так теперь сделалось весело,

как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!

— Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

— Как! разве кобыла нашлась?

— Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

— Что, Грицько, худо мы сделали свое дело? — сказал высокий цыган спешившему парубку. — Волы ведь мои теперь?

— Твои! твои!

XIII

Не бійся, матінко, не бійся, В червоні чобітки обуйся. Топчи вороги Під ноги; Щоб твої підківки Бряжчали! Щоб твої вороги Мовчали![179]

Свадебная песня

Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? — шептала она с каким-то выражением сомнения. — Ну что, если меня не выдадут? если… Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко*! как пристала к нему белая

[179] Сноски: 179

Не бойся, матушка, не бойся,/В красные сапожки обуйся./Врагов топчи/Под ноги;/Чтоб подковки твои/Звенели!/Чтоб враги твои/Молчали!

свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием, — как я встречусь тогда где-нибудь с нею, — я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла… дай примерять очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, — вскричала она, смеясь, — боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами, все, чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

Зелененький барвіночку,

Стелися низенько!
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься близенько!

Зелененький барвіночку,
Стелися ще нижче!

А те, милий, чорнобривий,
Присунься ще ближче![180]

Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни — жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился вприсядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

— Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.

---

[180] Сноски: 180

Зелененький барвиночек,/Стелись низенько!/А ти, милый, чернобровый,/Придвинься поближе!/Зелененький барвиночек,/Стелись еще ниже!/А ти, милый, чернобровый,/Придвинься еще ближе!

— Ну, дочка! пойдем скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, — побежала закупать себе плахт и дерюг[181] всяких, так нужно до приходу ее все кончить!

Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице.

— Боже, благослови! — сказал Черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вьют!

Тут послышался шум в народе:

— Я скорее тресну, чем допущу до этого! — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

— Не бесись, не бесись, жинка! — говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками, — что сделано, то сделано; я переменять не люблю!

— Нет! нет! этого-то не будет! — кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы

---

[181] Сноски: 181

Дерюга — рядно, покрывало, плахта темного цвета.

зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий

звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Пропавшая грамота

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну, тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом[182] великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе… Нет, мне пуще всего наши дивчата и молодицы; покажись только на глаза им: «Фома Григорьевич! Фома Григорьевич! *а нуте яку-небудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..*» — тара-та-та, та-та-та, и пойдут, и пойдут… Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постеле. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее ли-

---

[182] Сноски: 182
Акафист — молитвы Спасителю, Богоматери и святым угодникам.

хорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу — и боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается сызнова: расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум… Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня[183]. Только заране прошу вас, господа, не сбивайте с толку; а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время козаков. Знал и твердо-он-то[184], и словотитлу[185] поставить. В праздник отхватает апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс.

Один раз задумалось вельможному гетьману

---

[183] Сноски: 183
То есть в дурачки. (*Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[184] Сноски: 184
Твердо-он — старинное название букв «т» и «о».

[185] Сноски: 185
Словотитла (*церк.)* — сократительный надстрочный знак.

послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, — вот нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню… *Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек*… знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвал к себе деда и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться: грамоту зашил в шапку; вывел коня; чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посереди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка: народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка, с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбой — чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами… ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился,

чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ятках начало мало-помалу шевелиться: жидовки стали побрякивать фляжками; дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива[186], ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! Красные, как жар, шаровары, синий жупан[187], яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец, да и только! Эх, народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! Да ведь как пустится: ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершися в боки, несется вприсядку; зальется песней — душа гуляет!.. Нет, прошло времечко: не увидать больше запорожцев! Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать[188],

---

[186] Сноски: 186
Огниво — стальная полоска для высечки огня о кремень.

[187] Сноски: 187
Жупан — шуба, тулуп; разновидность кафтана.

[188] Сноски: 188
Калякать — разговаривать о неважном, болтать.

калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарке не век же стоять! Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых; где-где горели вместо него красноватые полосы; по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой приплевшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось, чем далее, тем сумрачнее; и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.

— Ге-ге, земляк! да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь!

— Перед вами нечего таиться, — сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на

них глаза свои. — Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому.

— Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах.

— Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок молодцу! Эй, братцы! — сказал он, хлопнув по рукам их, — эй, не выдайте! не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы!

Почему ж не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец[189] с собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед козаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму

---

[189] Сноски: 189

Оселедец — длинный клок волос, чуб на темени головы.

человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака[190], прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать покой-он-по[191]. Двор был уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего козака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он возы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги… Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден

---

[190] Сноски: 190
Горлица, гопак — украинские народные танцы.

[191] Сноски: 191
Покой — старинное название буквы «п».

он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшеюся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище… Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая дремота все туманила перед ним; руки его окостенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — козак спит, а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского! Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила; кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал козацкого слова. «Ну, думает, нечего делать, пойду пешком: авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня». Только

хватился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому. Вот тебе и гетьманский гонец! Вот тебе и привез грамоту к царице! Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума: собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова; и если бы дед не полез в карман за пятью злотыми, то простоял бы перед ним даром.

— Я научу тебя, как найти грамоту, — сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлег-

ло. — Я вижу уже по глазам, что ты козак — не баба. Смотри же! близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева, дорожкою этою иди, иди, иди… Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь кого нужно; да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны… Ты понимаешь, это добро и дьяволы и люди любят. — Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками — все, как груши, повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в

лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И, будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника! Так, все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты; еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, какие дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот

готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! «Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет». Дед, однако ж, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того… (дед живал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы[192], и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь), чтобы, примерно

[192] Сноски: 192
Подпускать турусы — склонять к чему-то в разговоре.

сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, *черт-ма*[193]». И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб так, что если бы он немного не посторонился, то, статься может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя или нет — рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже, он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака[194]. Пыль подняли боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного

[193] Сноски: 193
Не имеется. (*Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[194] Сноски: 194
Тропак — украинская народная пляска, исполняемая с топотом ног.

человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала! Наконец схватили его и посадили за стол длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо, — подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей, — видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно; и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно

даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам:

— Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок!

Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло.

— Ладно! — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у ней была чуть ли не красивее всех. — Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в *дурня*!

Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов.

— Слушай же! — залаяла ведьма в другой раз, — если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся — не только шапки, может, и света более

не увидишь!

— Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет.

Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «Дурень! дурень! дурень!»

— Чтоб вы перелопались, дьявольское племя! — закричал дед, затыкая пальцами себе уши.

«Ну, думает, ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. Поглядел на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хвать королей по усам всех козырями.

— Ге-ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?

— Как чем? козырями!

— Может быть, по-вашему, это и козыри, только по-нашему, нет!

Глядь — в самом деле простая масть. Что за дья-

вольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертаньё пошло снова драть горло: «Дурень, дурень!» — так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей.

— Козырь! — вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.

— А чем ты, старый дьявол, бьешь!

Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка.

— Вишь, бесовское обморачиванье! — сказал дед и с досады хватил кулаком что силы по столу.

К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол — и перекрестил: глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю.

— Ну, дурень же я был! Король козырей! Что!

приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..

Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда не возьмись шапка — бух деду прямехонько в лицо.

— Нет, этого мало! — закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. — Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас! — и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости.

— Вот тебе конь твой!

Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища!

— Дайте ж мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!

Черт хлопнул арапником[195] — конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рас-

---

[195] Сноски: 195
Арапник — длинная плеть, кнут.

сказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.

Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки — все в крови; посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою — и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату; смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: «*Дывысь, дывысь, маты, мов дурна, скаче!*»[196] И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго

---

[196] Сноски: 196

Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая, скачет! (*Примеч. Н. В. Гоголя.)*

смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки, и черт знает что еще такое. «Ну, — говорит дед, — тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет; в другую — нет; в третью — еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь — сидит сама, в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку *синицами*, как… всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после

того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку.

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа[197]. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

---

[197] Сноски: 197

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. *Замечание пасечника.* (*Примеч. Н. В. Гоголя.)*

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель[198] на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса

[198] Сноски: 198

Заседатель — представитель, избираемый населением для участия в рассмотрении судебных дел; присяжный.

с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец[199]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал

---

[199] Сноски: 199

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью[200], где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а

[200] Сноски: 200
Кутья — обрядовая каша из ячменных или пшеничных зерен.

к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана

в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и пе-

редразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные[201]; теперь же и заседатель и подкоморий[202] отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой ха-

---

[201] Сноски: 201
Нагольный тулуп — без покрышки, кожей наружу.

[202] Сноски: 202
Подкоморий — судья, занимавшийся разделением владений.

те? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился…

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

— То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.

— А что мне делать!

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нароч-

но, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху[203]. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или

[203] Сноски: 203
Варенуха — навар водки и меда на ягодах и пряностях.

трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

— Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!

— Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому реши-

тельно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-

нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не

увидать богаче галуна[204]! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука,

---

[204] Сноски: 204
Галун — золотая или серебряная тесьма.

Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток вы́ходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и

ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве,

все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе

голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр[205], поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого

---

[205] Сноски: 205
Кухмистр — повар.

франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в

кобеняк с видлогою[206], в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую

---

[206] Сноски: 206

Видлога — капюшон, накидка на голову, накидной ворот.

куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост

величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно

оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи[207], угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум,

---

[207] Сноски: 207
Капелюха — шапка-ушанка.

немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это

хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!

— Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.

— Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

— Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойти! вишь какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару[208]. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у

---

[208] Сноски: 208

Комиссар — звание заведующего припасами; смотритель, пристав.

меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку

ладунка[209], в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами[210], колбасами,

---

[209] Сноски: 209
Ладунка — военная сумка для зарядов, патронташ.

[210] Сноски: 210
Паляница *(укр.)* — небольшой плоский хлеб из пшеничной муки.

варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

— Видишь, какие захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица,

то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удо-

влетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солома думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий

голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели, Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Не-

известно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина… трин… Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и

затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… эк окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга…

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтени-

ем боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел

Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам пес-

ни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками[211] слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку[212] и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок

[211] Сноски: 211
Колядка *(укр.)* — старинная обрядовая рождественская песня.

[212] Сноски: 212
Щедровка *(укр.)* — старинная обрядовая песня, распевавшаяся в канун Нового года.

со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду

замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнес он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все

добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился[213]! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть дух. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже,

---

[213] Сноски: 213

Повредился — сошел с ума, помешался.

лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к

нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало

смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать:

— К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?

— Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

— Сделай милость, человек добрый, не отка-

жи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул

из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько… Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись

и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать черта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнес печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

— Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-ни-

будь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то *в шмак*[214]: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто ни увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идешь?

— А так, иду, куда ноги идут.

---

[214] Сноски: 214

Шмак — приспособление в виде воронки с желобом для отливки орудия.

— Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. — Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава Богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнес ткач, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, ка-

ких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его

собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал, приосанясь, кум.

— Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы[215], — та ничего… не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват!

— Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудив-

---

[215] Сноски: 215

Пивкопы — двадцать пять копеек, от *копа*: полтина медью, пятьдесят копеек.

шийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

— Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.

— А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом

ткач, — черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шаля, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец проехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали

все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посереди дороги, — сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак… да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько… Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма… много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то

случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками[216], и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его

[216] Сноски: 216

Плошка — глиняный сосуд для вставки светильни, заливаемой салом; лампадка.

слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через

Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят…

— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и, желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.

— Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно́ снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запо-

рожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры[217], я думаю, и на копейку не пошло, все ярь[218] да бакан[219]; а голубая

---

[217] Сноски: 217
Вохра — желтая земляная краска.

[218] Сноски: 218
Ярь — яркая белая краска.

[219] Сноски: 219
Бакан — багряная краска.

так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом[220]. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими

---

[220] Сноски: 220
Блейвас — свинцовые белила.

поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

– *Та вси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! — кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.

– *Та спасиби, мамо!* Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*[221]; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите каз-

[221] Сноски: 221

Карабинер — солдат, вооруженный карабином; существовали пехотные карабинерные полки; карабин — короткая винтовка или ружье.

нить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

– *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам в себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украйне; есть такие, что имеют жен и в Турецине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на

лед *ковзаться*[222], какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-ни-

---

[222] Сноски: 222

Ковзаться — скользить по льду для забавы, кататься на ногах.

будь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с

фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было

подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно

крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что

праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара[223]. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего

[223] Сноски: 223
Титар — церковный староста (хозяин церковного имущества и сбора).

Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец

воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его… Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– *Добре!* присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков… — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа! — сказал преосвя-

щенный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *«Он бачь, яка кака намалевана!»* — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

Глава I
Иван Иванович и Иван Никифорович

Славная бекеша[224] у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку, что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник Божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под наве-

---

[224] Сноски: 224

Бекеша — сюртук или кафтанчик (разновидности верхней мужской одежды разного покроя) на меху.

сом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и врываются в комнату. Это всё перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то».

Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени[225] и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что

[225] Сноски: 225

Сени — нежилое помещение дома, которое соединяет жилую часть дома с улицей.

весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом[226]; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему. А протопоп[227] отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от

---

[226] Сноски: 226

Очерет (*укр.)* — камыш, тростник; очеретяный — сделанный из стеблей камыша или тростника.

[227] Сноски: 227

Протопоп — сан старшего священника в православном храме.

средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в *запаске*, с свежими икрами и щеками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого[228]! — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

---

[228] Сноски: 228
Небого — бедная. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так, тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с богом, — говорил Иван Иванович. — Чего же ты стоишь? ведь я тебя не бью! — и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который

до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку

проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович

встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижицу*[229];

[229] Сноски: 229
Ижица (буква «иже») — старинное название буквы «и».

у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?»[230]; если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имею чести знать чина[231], имени и отечества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок[232] свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства,

---

[230] Сноски: 230

Одолжение — услуга, помощь; одолжить — давать в долг.

[231] Сноски: 231

Чин — звание, степень, определяющая общественное положение.

[232] Сноски: 232

Рожок — специально обработанный, пустой внутри рог животного для хранения табака.

как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

Глава II,
из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи, боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох… Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и заня-

лись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую[233] кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые[234] панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет[235], который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию[236] и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выстави-

[233] Сноски: 233

Парча — золотая или серебряная ткань.

[234] Сноски: 234

Казимир — вид полушерстяной материи.

[235] Сноски: 235

Бешмет — стеганая одежда, которую подевали под тулуп или кафтан; простой суконный кафтан с кожаной обшивкой.

[236] Сноски: 236

Милиция — временное или земское (земство — орган местного самоуправления в России до 1918 года) войско, ополчение; граждане, вооруженные правительством.

лась шпага, походившая на шпиц[237], торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды[238] чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп[239], который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя

[237] Сноски: 237
Шпиц — шпиль на здании.

[238] Сноски: 238
Фалда (*нем.)* — складка; одна из двух половинок нижней задней части мундира.

[239] Сноски: 239
Вертеп — кукольный передвижной украинский народный театр.

Ирода[240] в золотой короне или на Антона[241], ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком[242] когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

«Вот глупая баба! — подумал Иван Иванович, — она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые[243] шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого

---

[240] Сноски: 240

Ирод — царь Иудеи, отличавшийся своей мнительностью и жестокостью по отношению к врагам и соперникам.

[241] Сноски: 241

Антон — возможно, *здесь*: Антоний Марк — римский полководец.

[242] Сноски: 242

Чепрак — суконная, меховая или ковровая подстилка под конское седло.

[243] Сноски: 243

Нанка — хлопчатобумажная ткань.

она вынесла еще шапку и ружье.

«Что ж это значит? — подумал Иван Иванович. — Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное, — продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? — говорил про себя Иван Иванович. — А давно ли оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещица! — продолжал Иван Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался[244], как цветами,

---

[244] Сноски: 244

Убираться — наряжаться, украшаться нарядами.

репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: извнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобресть необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, из-

менив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги Бог! — сказал Иван Иванович.

— А! здравствуйте, Иван Иванович! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?

— Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только

что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина! — закричал Иван Никифорович, — принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уж будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!

— Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. — Время ли не приспело еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

— Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? — наконец сказал Иван Иванович.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? — Тут Иван Иванович поднес табаку. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! — При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер[245] немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите,

---

[245] Сноски: 245

Канупер (*бот.)* — многолетнее травянистое растение с приятным запахом, употребляется как пряность.

одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[246] не убили, да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его! Как можно? это вещь

---

[246] Сноски: 246
То есть утки. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

необходимая.

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники… Еще бы не необходимая. Слава тебе Господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй,

поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.

— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу[247]. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

— Опять! без черта таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-богу грех, Иван Никифорович!

— Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью…

---

[247] Сноски: 247
Саж — хлев, в котором откармливают свиней.

— Садитесь, садитесь! не буду же… Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, — не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему.

— Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

— Побьют. Так не хотите, Иван Иикифорович, менять ружьеца?

— Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой…

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околеет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.

— Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору

с вами нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться.

— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное…

— Вы Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как *дурень с писаною торбою*, — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак*[248].

Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

---

[248] Сноски: 248
То есть гусь-самец. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусаком?

— Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение *ижицы*, а сделался похожим на *О*; глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей-богу, не заплачу от этого! — отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей-богу лгал! ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме.

— Эге-ге! — сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлопче! — При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. — Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. —

Осмельтесь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да глядите, не попадайтесь мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

Глава III,
что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой бекеше[249], Иван Никифорович в нанковом желто-коричневом казакине отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо

---

[249] Сноски: 249
Штаметовая бекеша — бекеша из плотной шерстяной материи.

здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга… Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая[250], с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно

[250] Сноски: 250

Саврасый — конская масть — светло-гнедой с желтизной (гнедой — масть лошади с темнорыжей шерстью или масть с черным хвостом и гривой).

оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» — то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец, остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад.

Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так

устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотница до церемоний, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки[251] по утрам, и отлично хорошо ругалась, — и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего

[251] Сноски: 251
Бурак (*укр.*) — свёкла.

выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навыворот.

— Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Все приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз чрез плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьяволь-

скою скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь… О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарскою бесстрашностию; как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная

тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов… Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось… Иван

Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке — все с дрекольями, предводительствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый[252] суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы.

---

[252] Сноски: 252
Поветовый — уездный.

Глава IV,
о том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда

Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы… Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленною плахтою[253], или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена,

[253] Сноски: 253
Плахта — ткань, расшитая узором; юбка из этой материи.

обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной *присутствие*[254], в другой *арестантская*. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты, чистые, выбеленные: одна — передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем *зер-*

[254] Сноски: 254

Присутствие — комната, где заседают, присутствуют члены заседания, совещания.

цало[255]. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды[256]. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с *подсудком*[257]. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не

---

[255] Сноски: 255

Зерцало — *здесь*: трехгранная подставка с указами Петра I, стоявшая на столе всякого присутственного места.

[256] Сноски: 256

Ябеда — *здесь*: бумага с жалобой, доносом, наговором.

[257] Сноски: 257

Подсудок — чиновник, писарь земского уездного суда.

вошел в занимательный между тем разговор.

— Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, — каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон[258], меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему…

— Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

— А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело козака Бокитька о краденой корове.

— Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему… Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, един-

---

[258] Сноски: 258
Бобон — опухоль.

ственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить… А! слыхом слыхать, видом видать… — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

— Бог в помощь! желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

— Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли чашку чаю?

— Нет, весьма благодарю, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте милость, одну чашечку! — повторил судья.

— Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Одну чашку, — повторил судья.

— Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!

При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Чашечку?

— Уж так и быть, разве чашечку! — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?

— Покорно благодарствую, — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!

— Не могу. Весьма благодарен. — При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

— Нет, весьма обязан за угощение.

Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

— Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.

Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

— Я, Демьян Демьянович, — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, — я к вам имею необходимое дело: я подаю позов[259]. — При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. — Позов на врага своего, на заклятого врага.

— На кого же это?

— На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

— Что вы говорите! — произнес он, всплеснув руками. — Иван Иванович! вы ли это?

— Видите сами, что я.

— Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифо-

---

[259] Сноски: 259
Позов — иск.

ровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.

— Пресвятая Троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?

— Это дело деликатное, Демьян Демьянович! на словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте, Тарас Тихонович! — сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощию двух пальцев, начал читать:

— «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка

прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами…»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя:

— Что за бойкое перо! Господи боже! как пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно: *гусаком*, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться

не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви *Трех Святителей*, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. *Гусак* же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо *гусак* есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого

дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи[260] захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда, по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно

---

[260] Сноски: 260
Соха — жердь.

и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем.

И потому прошу оного дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия *гусака*, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. — Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите сантуринского, или никопольского, или

хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем всё!

— Нет, Демьян Демьянович! не такое дело, — сказал Иван Иванович с важностию, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! — продолжал он с тою же важностию, оборотившись ко всем. — Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. — И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

— Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? — сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.

— Экие дела делаются! — продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича, и еще в суд, так показалось необыкновенным, что

судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовом[261] подобии полуфрака, взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря[262] и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяна, с разодранными локтями, приближился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил

---

[261] Сноски: 261
Фриз — толстая ткань-байка.

[262] Сноски: 262
Фельдъегерь — рассыльный, курьер в военном звании.

ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных *охов*, ничего не мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли? — и, вынувши из кармана рожок, прибавил: — Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. — Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такою приятною нечаянностию.

— С просьбою… — мог только произнесть Иван Никифорович.

— С просьбою? с какою?

— С позвом… — тут одышка произвела долгую паузу, — ох!.. с позвом на мошенника… Ивана Иванова Перерепенка.

— Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

— Он сам сатана! — произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

— Возьмите просьбу, прочитайте.

— Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович, — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

— «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван, Иванов сын, Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать[263], с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и в находящейся в оном[264] мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как-то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оного уклонить его;

---

[263] Сноски: 263
Тать — вор.

[264] Сноски: 264
Оный (*устар.*) — тот, тот самый.

но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Гапке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный острог, препроводить, и там же, по усмотрению, лиша чинов и

дворянства, добре барбарами шмаровать[265] и в Сибирь на каторгу по надобности заточитть; проторы[266], убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. — К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович? — говорил ему вслед судья. — Посидите немного! выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай принеси чаю!

Но Иван Никифорович, с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

— Не беспокойтесь, я с удовольствием… — и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно

---

[265] Сноски: 265

Барбара (*укр.)* — нагайка (толстая круглая ременная плеть); барбарами шмаровать — бить плетьми.

[266] Сноски: 266

Проторы — издержки, расходы, убытки.

важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за № 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели

могут узнать из следующей главы.

Глава V,
в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению своему, увидел что-то красневшее в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру[267] и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить», — но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти

[267] Сноски: 267
Политура — полировка.

восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бобы; одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович! — вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своей пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

— Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю, Ивану Ивановичу! — отвечал городничий.

— Милости прошу садиться. Вы, как я вижу,

устали, потому что ваша раненая нога мешает…

— Моя нога! — вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант на танцевального учителя. При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я делывал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, делывал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года… Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. — При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

— Где ж вы бывали сегодня? — спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться

и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с необыкновенною силою.

— А позвольте, я вам расскажу, где был я, — отвечал городничий. — Во-первых, доложу вам, что сегодня отличное время…

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

— Но позвольте, — продолжал городничий. — Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. — Тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

— Какое же оно важное? разве оно важное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы… с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего; но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

— Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина ута-

щила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите после этого, что ничего не понимаете!

— Какая животина?

— С позволения сказать, ваша собственная бурая свинья.

— А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери!

— Но, Иван Иванович, ваше собственное животное — стало быть, вы виноваты.

— Покорно благодарю вас за то, что с свиньею меня равняете.

— Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! Ей-богу, не говорил! Извольте рассудить по чистой совести сами: вам, без всякого сомнения, известно, что, согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечистым животным. Согласитесь сами, что это дело запрещенное.

— Бог знает что это вы говорите! Большая важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте вам доложить, позвольте, позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет — мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, — заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в

прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

— Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

— Вот этого-то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать… но мой долг, словом, обязанность требует смотреть за чистотою. Посудите сами, когда вдруг на главной улице…

— Уж хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

— Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дело…

— Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья

творение Божие!

— Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.

— Да, — продолжал городничий, — в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок втором егерском полку[268] в четвертой роте поручиком[269]. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев. — При этом городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

— Гм!

— Но мой долг, — продолжал городничий, — есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший

---

[268] Сноски: 268

Егерский полк — пехотный полк, сформированный из лучших стрелков.

[269] Сноски: 269

Поручик (*пол.* porucznik) — военный чин младшего офицерского состава русской армии с XII века.

в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

— Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение Божие!

— Всё так, но закон говорит: «виновный в похищении…» Прошу вас прислушаться внимательно: *виновный*! Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания, — стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

— Нет, Петр Федорович! — возразил хладнокровно Иван Иванович. — Этого-то не будет!

— Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

— Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

— Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к Рождеству и наделайте из

нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.

— Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет! — Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

— Как вы себе хотите, — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. — Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь…

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

Глава VI,
из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу:

— Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь! Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!

И уговорила неугомонная! Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, сюртуке — совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по

три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и наконец состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивано-

вым сыном, Перерепенком, уже уличенном в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оного миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко, в приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров

сын, Довгочхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. — Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить дзух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались — все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий. Множество невест

успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, Бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, — и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею[270]! Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек[271] и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад

---

[270] Сноски: 270
Ассамблея (*фр.* assemblee) — собрание.

[271] Сноски: 271
Бричка (*пол.* bryczka) — легкая полукрытая повозка.

узенький, а перед широкий. Одна, была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком[272]; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел[273] возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях[274], свитках и серяках[275], в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович — не тот

---

[272] Сноски: 272
Чубук — деревянная дудка, на которую насаживают табачную трубку.

[273] Сноски: 273
Козлы — сиденье для кучера у всех типов повозок.

[274] Сноски: 274
Чекмень — крестьянский кафтан.

[275] Сноски: 275
Серяк — мужицкий кафтан из грубого сукна.

Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич… Не могу далее! не в силах! Рука устает писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как-то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, — сказал:

— Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.

— Как так?

— Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что вы говорите! — При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. — Что же теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке, с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха, — этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. — Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей!

Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, — пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом — просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос — на кого возложить это важное поручение? — повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части; наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас. Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» — то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и те-

перь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных ломах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники»[276] Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом

---

[276] Сноски: 276
«Дураки» и «мельники» — карточные игры.

ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как, в самом деле, ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится, — что, без сомнения, он знает, — непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела, — в ме́не только был он не так счастлив, — он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его

за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, — громче его никто не умел кричать, — что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.

Глава VII,
и последняя

— А! здравствуйте. На что вы собак дразните? — сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их дразнит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед.

— Гм!

— Ей-богу! так убедительно просил, что выразить не можно. — Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбородок.

— Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдем! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

— Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата.

— Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. — Что ж? Идем или нейдем?

— Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

— Отчего же не хотите вы? — спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

— Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю,

что вас удерживает.

— Чего я пойду? — проговорил наконец Иван Никифорович, — там будет разбойник! — Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли…

— Ей-богу, не будет! вот как Бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. — Пойдемте же, Иван Никифорович!

— Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

— Ей-богу, ей-богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствия Небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время

сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича — что-нибудь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, — чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час — время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть, и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван

Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мниш-

ках[277] в сметане, ни об утрибке[278], которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: Творец Небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый

---

[277] Сноски: 277
Мнишки (*устар.)* — вареные коржики из творога с мукой.

[278] Сноски: 278
Утрибка — кушанье из потрохов.

из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднесть рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны[279], вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние прия-

---

[279] Сноски: 279
Каплун — петух без гребня.

тели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, — не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, — стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ

примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!

— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения), — я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

— Не повинен ни в каком злом умысле, — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. — Клянусь и пред Богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит

вред моему чину и званию?

— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? — сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве это не вред, — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

— Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение), — вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал *гусаком*...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено:

Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай бог видывать человека, — что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произ-

несено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он *птица*, а не *гусак*, еще бы можно было поправить.

Но — все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

–

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал ро-

гоженную[280] кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы[281] были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее пред иконою и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отве-

---

[280] Сноски: 280

Рогоженная — сделанная из рогожи; рогожа — грубая ткань, изготовленная из мочала (лубяной части коры липы, размоченной в воде и разодранной на волокна).

[281] Сноски: 281

Притвор — передняя в храме, паперть (площадка перед входом в церковь).

чал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?

— Что ж делать! тяжба…

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится па следующей неделе, и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-то, — он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?

— О какой новости? — спросил я.

— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!

1834

Страшный кабан
Две главы из малороссийской повести

I. Учитель

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут[282], нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками[283]. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинуто и на хозяйственную систему; по крайней

---

[282] Сноски: 282

Рекрута (рекрутчина) — набор на военную службу; *отсюда:* рекрут — новобранец, поступивший на военную службу по повинности или по найму.

[283] Сноски: 283

Степовик — живущий в степной глуши, хуторянин.

мере, уже верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые со значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик[284] не будет теперь нулем. Один только мирошник[285], Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам[286] со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по

[284] Сноски: 284

Приказчик — наемный служащий у помещика, исполнявший разные хозяйственные поручения, руководивший или самим хозяйством, или каким-нибудь его участком.

[285] Сноски: 285

Мирошник — мельник. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[286] Сноски: 286

Старшина — выборный или поставленный начальник из того же сословия.

неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и

залетел бы невесть куда, вероятно еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе, — ему, наконец, не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки[287], так что Иван Осипович, наскучa быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на *вакансию*[288].

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заместило наконец какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светло-синем сюртуке, — заметьте: в светло-синем сюртуке, это немаловажно. Дол-

[287] Сноски: 287

Чемерик (чемерица, чемеричник) — ядовитое растение.

[288] Сноски: 288

Эти слова в украинских семинариях значат: пойти в домашние учители. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

гом поставляю надоумить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой *бакши*[289], так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: *«Цяця, цяця!»*[290] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением почтенный наставник, завесившись

[289] Сноски: 289

Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[290] Сноски: 290

Хорошо, хорошо! *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготовлял лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внучка Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прял.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если

вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом и цветом совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba rabarbarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внучка забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность,

приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном[291]. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он *Аз*[292] – *ангел, архангел, Буки*[293] – *Бог, Божество, Богородица,* — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темно-кофейном ее капоте[294], в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII столетие), в

---

[291] Сноски: 291
Фронтон — треугольная стенка под крышей или над входом в дом.

[292] Сноски: 292
Аз — старинное название буквы «а».

[293] Сноски: 293
Буки — старинное название буквы «б».

[294] Сноски: 294
Капот — женское платье с рукавами и разрезом спереди.

коричневом шушуне[295], в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Все время от пяти часов утра до шести вечера, то есть до времени успокоения, было беспрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один

[295] Сноски: 295
Шушун — кофта, телогрейка.

запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, — разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, — в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать; и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом — так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначавший каждого, и тогда ему открывалось, словно в му-

равьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест[296] и Пилад[297] нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро

---

[296] Сноски: 296

Орест — герой греческих мифов, сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший мать и её возлюбленного Эгисфа, мстя за убитого ими отца.

[297] Сноски: 297

Пилад — в греч. мифологии верный друг Ореста; *перен.* — верный друг.

осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влия-

нии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик[298] и, несмотря на то что не дошел еще до *философии*, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo[299], любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком

[298] Сноски: 298

Стоик — последователь стоицизма (направления в античной философии); человек, мужественно переносящий жизненные испытания.

[299] Сноски: 299

Следовательно (*лат.*).

тверды… «Homo proponit, deus disponit»[300], — говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

[300] Сноски: 300
Человек предполагает, Бог располагает (*лат.)*.

II. Успех посольства

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы.)

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель! — повторял он несколько раз сам себе, — ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосый лай прорезал облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее идти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое

имущество козака. Мелькнула синяя запаска[301], огненная лента… Сердце в нем вспрыгнуло… и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собой большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чистую выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовой дверью, с низеньким из глины фундаментом (*присьбою*)[302], обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно[303]; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К

[301] Сноски: 301

Запаска — разновидность женского шерстяного передника.

[302] Сноски: 302

Присьба (призба, завалинка) — невысокая земляная насыпь вокруг избы.

[303] Сноски: 303

Гумно — место, где молотят хлеб.

пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью:

– *Батька* нет дома, да вряд ли и к вечеру будет.

– *Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься*! Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал:

— Нелегкая понесла бы меня к *батьке*, когда есть такая хорошая дочка.

— А, вот что! — проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. — Милости просим! — и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более

свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша без ведома отца принимала у себя гостя.

— Ты пешком сюда пришел, Онисько? — спросила она его, садясь на *присьбе* у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

— Как пешком? — «Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» — подумал кухмистер. — Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Черт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского гнедого, чтобы только перетащиться из одного двора в другой.

— Однако ж от кухни до *коморы*[304] не так-то далеко.

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» — повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к черту, позабыв и приязнь и дружбу их.

— Однако ж, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными опенками, лишь бы только

---

[304] Сноски: 304
Комора — кладовая, амбар.

ты еще раз этак засмеялась.

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

— Вот этого-то я уж и не люблю! — вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. — Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пущу тебе в голову вот этот горшок.

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «Я не в состоянии буду этого сделать».

— Полно же, полно! *не возом зацепил тебя*. Есть из чего сердиться! как будто бог знает какая беда — обнять красную девушку.

— Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного от него подалее и приняв снова веселый вид. — Да что ты, послышалось мне, упомянул про учителя?

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного.

— Учитель… Иван Осипович то есть… Тьфу, дьявольщина! у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель… вот что я тебе скажу,

сердце! Иван Осипович *вклепался*[305] в тебя так, что… ну, словом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую *пани* купила у жида и которая околела после *запала*[306]. Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.

— Хорошую же ты выбрал себе должность! — прервала Катерина с некоторою досадой. — Разве ты ему сват или *родич* какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по миру выпрашивать под окнами для них милостыни.

— Да это все так; однако ж я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться…

— Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку. Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший изо всего села. Слава Богу, я еще не ослепла; слава Богу, я еще при своем уме… Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты,

---

[305] Сноски: 305
То есть влюбился. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

[306] Сноски: 306
Запал — лошадиная болезнь, которая сопровождается одышкой.

верно, думал… Нет, ты недобрый человек!

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щечке, будто падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Черт побери всех на свете учителей!» — думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором по-прежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

— Убей меня гром на этом самом месте, — вскричал он наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее, — если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помои.

— Нашел чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села говорят то же.

— Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол побери их вместе с учителем! Я бы отдал

штоф[307] лучшей третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?

— Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастная доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут… Нет, нет, нет! Пусть Бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом…

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длинною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю *пании*. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Все гулял да гулял. Да

[307] Сноски: 307

Штоф — старинная единица измерения, равная 1,23 л.; стеклянная бутылка такой емкости.

гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе и на сердце было весело? Напьешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми… собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса:

— Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?

— Не стану, мое *серденько*! не стану; пусть ему всякая всячина! Все для тебя готов сделать.

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харька.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом увидел стоявшую на плетне Симониху.

— Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет

поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так вот что деется! так вот какие шашни!..

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

— Типун бы тебе под язык, старая ведьма! — проговорил кухмистер, — тебе какое дело?

— Мне какое дело? — продолжала неутомимая шинкарка, — вот прекрасно! Парни изволят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов — и мне нет дела! Изволят *женихаться*, целуются — и мне нет дела! Ты слыхал ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батогом, впереди так же медленно выступавшей коровы. — Слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка…

— Тьфу, дьявол! — вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. — Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню

и принялся стряпать ужин. Евдоха, однако ж, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

— Нет, господин учитель! — твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая под голову свою куртку, — не видать вам Катерины, как ушей своих! — И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.